

**ББК 63.3(2)**

**О 66**

Под общей редакцией  
доктора философских наук  
**А.А. Кара-Мурзы**

**С 76**      **Орловские либералы: люди, события, эпоха.** Орел:  
Издатель Александр Воробьев, 2010. 132 с., илл.

**ISBN 978-5-91468-057-9**

*Представленный читателю сборник статей посвящен представителям российского либерализма XIX-XX вв., чьи имена неразрывно связаны с историей Орловского края. В книге прежде всего представлены очерки о жизни и деятельности давно и хорошо известных либеральных мыслителей и политических деятелей – С.А. Муромцева, А.А. и М.А. Стаховичей, С.Н. Булгакова. Отдельную часть сборника составили материалы о тех, кто обычно ассоциируется в массовом историческом сознании как представитель иных направлений общественной мысли - литературы, истории. Речь идет о таких орловцах как И.С. Тургенев и Т.Н. Грановский. Не забыты и имена тех, кто только сегодня возвращается в историю отечественной либеральной мысли и политической практики Ф.В. Татаринов, Б.К. Зайцев, С.К. Живописцев.*

**ББК 63.3(2)**

**ISBN 978-5-91468-057-9**

© Издатель Александр Воробьев, 2010

И.Я. Мосякин Орловские либералы: от Тургенева до Муромцева – от мечты до конституции	4
А.А. Кара-Мурза Тимофей Николаевич Грановский: «Деспотизм не может ужиться с просвещением...»	8
А.А. Кара-Мурза Иван Сергеевич Тургенев: «Я всегда был "постепеновцем", либералом старого покроя...»	23
Д.В. Аронов Сергей Андреевич Муромцев: «Сторож, скоро ли рассвет? Еще темно, но день уже близок!»	43
А.А. Кара-Мурза Михаил Александрович Стахович: «Бороться можно с правительством, а не с государством...»	55
В.В. Вострикова Александр Александрович Стахович: «...для нас хорош только путь легальный»	81
В.В. Вострикова Федор Васильевич Татаринov: «...строить здание народной свободы»	90
Е.И. Хохлова Сергей Николаевич Булгаков: «Не нужно разделять сознательно идеи века, чтобы быть тем не менее его сыном»	99
А.А. Кара-Мурза Борис Константинович Зайцев: «Да не потонет личность человеческая в движениях народных!»	107
И.А. Сосновская Семен Константинович Живописцев: «От человека остаются только одни дела его...»	124

## **Орловские либералы: от Тургенева до Муромцева – от мечты до конституции**

К истории какого бы уголка России мы ни обращались, в ней всегда найдется что-то особенное, уникальное, что становится своеобразным символом конкретного края, области, города, села. Наверное, в этом проявляется такое свойство человеческой натуры, как стремление мыслить символически, собирая в чем-то малом, все то многообразие, которым обладает любая часть окружающего нас мира.

Москва златоглавая, тульские самовары, курские соловьи – все эти символы обыденно и привычно вошли в наш язык и не требуют пояснения. В этом ряду Орел давно и заслуженно пользуется славой литературной столицы России, пришедшей к нему в период расцвета классической российской культуры. Слова Н.С. Лескова о том, что «Орел вспоил на своих мелких водах столько литераторов, сколько не поставил на службу России ни один другой город», стали своеобразным символом восприятия нашего города. Конечно, история Орла не ограничена его литературной славой. В историю века XX город вошел как место, где развернулось величайшее сражение Великой Отечественной войны, ставшее коренным переломом в ходе военных действий. Заслуженно Орлу, в числе первых, было присвоено высокое звание Города воинской славы, как, впрочем, и еще двум городам – Ельцу и Брянску, ранее входившим в состав Орловской губернии.

Но история подобна книге, которую можно читать и перечитывать без конца, ибо она способна без конца открывать нам все новые и новые грани. Сборник очерков, который вы сейчас держите в руках, посвящен истории российского либерализма, судьбам тех его замечательных представителей XIX - начала XX в., чья жизнь самым тесным образом была связана с Орловщиной.

Именно на Орловщине прошли те годы жизни будущих политиков всероссийского масштаба, когда они формировались как личности. Именно здесь, в уникальной усадебной, провинциальной, в самом высоком смысле этого слова, культуре, на лучших образцах литературного искусства они впитали в себя не только любовь к своей малой Родине, но и лучшие черты российских сословий, и прежде всего дворянства, многие века составлявшего становой хребет российской государственности.

В родовом имении и усадьбе дяди в беседах старших о прежних войнах и славе русского оружия прошло детство Сергея Андреевича Муромцева. Именно здесь он стал свидетелем земской деятельности своих родных и близких, ставших для него примером бескорыстного служения Отечеству. Именно здесь заслужили славу защитников народных интересов братья Александр и Михаил Стаховичи. Горячие словесные баталии о крестьянской реформе, о том месте, которое должен занимать в трудные для страны годы настоящий сын отечества, стали той интеллектуальной средой, которая дала России ее истинных патриотов, способных соединить в своих планах реформирования страны и лучшие образцы западноевропейской мысли, и ту русскую особость, без учета которой, как показывает наша история, любые реформы обречены на провал.

Но этими именами, вписанными золотыми буквами в историю российского парламентаризма, не ограничивается история этого политического течения на Орловщине. Известный скорее как родоначальник всеобщей истории в России – Тимофей Грановский, начинал свой жизненный путь в г. Орле, где действует посвященный ему музей. В разные годы Орловскую губернию представляли в Государственной думе такие разные по рождению, воспитанию, взглядам люди, как общественный деятель, руководитель орловских кадетов Федор Татаринов и известный российский философ Сергей Булгаков. В сборнике упомянуты и те, кто сегодня известен скорее специалистам – С.К. Живописцеве, А.К. Врангеле, В.Н. Ильинском, чьи почти забытые имена мы возвращаем нашей истории.

Но есть среди героев сборника и тот, кто более чем известен всем россиянам, чье имя у всех на устах, но наша историческая и литературоведческая традиция никогда не относила его к либеральной составляющей российского политического процесса. Речь идет об Иване Сергеевиче Тургеневе. Будучи прежде всего великим писателем, навсегда оставшимся в истории русской классической литературы, в этом сборнике он раскрывается с самой неожиданной стороны, еще раз подтверждая истину, что талантливый человек талантлив во всем.

Вихри истории, пролетевшие над нашей страной в прошлом веке, принесли немало событий по-разному, а порою противоположно оцениваемых не только современниками, но и последующими поколениями. В полной мере это относится и к тематике нашего сборника. Российский либерализм никогда не был господствующим течением в нашем обществе. Не был он понят и в начале XX в., когда, как казалось многим представителям думающей части российского общества, у либеральных политических сил появился шанс не

только войти во власть, но и на практике реализовать свою модель преобразования страны.

Обращение к истории российского либерализма неизбежно подводит нас к попытке понимания той позиции, которую занимали те политические и общественные деятели, объективно выступавшие носителями определенного типа идеологии, трансформирующейся на определенном этапе развития в конкретные теории, программы, практические политические решения. В полной мере это относится и к началу XX в., когда в России встал вопрос о выборе путей развития страны, реформирования ее социально-политической системы. Длительные поиски модели развития государства, ставшие неотъемлемой чертой интеллектуальных дискуссий, как в широких слоях общества, так и в среде власть предержащих, подвели к пониманию необходимости включения в систему государственной власти институтов власти законодательной, хотя ее место и роль представители разных социальных групп оценивали по-разному, порою диаметрально противоположно. Вполне логичным в данном контексте, как с позиций хода региональной истории, так и истории российского парламентаризма в целом, представляется попытка проследить основные тенденции развития данного процесса через призму его рассмотрения на примере жизни и деятельности тех выдающихся личностей, чья деятельность во многом и определяла, и одновременно символизировала те тенденции, которые играли системообразующую роль на соответствующем этапе российской истории. Особенно интересные результаты этот подход дает в том случае, если волею судеб эти персоналии оказывались не только относящимися к одному региону, одной социальной среде, но и стали символами того разного выбора, который в переломный момент истории приходилось делать всем, кто не снимал с себя ответственность за судьбу своей Родины.

История показала, что у нас могут быть разные взгляды на средства и методы реформы политической системы страны, способы борьбы с кризисными явлениями в экономике, формы организации представительной власти. Но Россия у нас одна. И главное для нас одно – сделать ее могучим и процветающим государством. И именно этому была посвящена деятельность тех, кто стал героями этой книги. Она посвящена тем, кто в XIX - начале XX в. совершил социальный прорыв, создав новое интеллектуальное, общественное, политическое течение, всей своей жизнью подтвердив истину, что следование высоким принципам служения своей Родине есть единственный путь, достойный высокого звания гражданина и патриота своей страны.

**Тимофей Николаевич Грановский:  
«Деспотизм не может ужиться с просвещением...»**

Выдающийся русский историк-просветитель Тимофей Николаевич Грановский родился в Орле 9 марта 1813 г. в дворянской семье. Дед Грановского, появившийся в Орле, как рассказывали, «неведомо откуда с 15 копейками в кармане», накопил здесь немалое состояние на посредничестве в деловых операциях. Однако его сын, чиновник соляного управления, питал неодолимую страсть к азартной игре и быстро спустил отцовские деньги. Эта семейная драма потом долго отравляла жизнь самого Тимофея Грановского, боявшегося, что пагубная страсть отца к картам могла передаваться ему «по наследству».

До тринадцати лет юный Грановский воспитывался дома, обучаясь в основном языкам и достаточно бессистемно поглощая книги из семейной и соседских библиотек. В 1826 г. отец определил его в московский частный пансион Кистера на Большой Дмитровке – один из лучших в тогдашней первопрестольной.

Иоганн Фридрих (Федор Иванович) Кистер, выходец из Брауншвейга, сделал хорошую карьеру на своей новой родине. Имея юридическое образование Гельмштедского университета, он выдержал испытание в Московском университете и получил степень доктора права. Преподавал немецкую словесность в университете, а в 1819 г. основал частный пансион «для благородных детей мужеского пола», за образцовое управление которым неоднократно поощрялся Министерством просвещения и был награжден орденом св. Анны 3-й степени. Именно пансиону Кистера Тимофей Грановский обязан глубоким знанием немецкой культуры и немецкого языка (французским и английским он овладел еще в детстве), что позволило ему впоследствии плодотворно совершенствовать свое образование в Германии у лучших немецких профессоров.

В Москве юный Грановский познакомился с молодыми преподавателями университета, увлекся поэтическими переводами, начал сам писать стихи и даже напечатал в «Дамском журнале» некую «элегию» собственного сочинения. Однако учебный курс у Кистера Грановским завершен не был: после летних каникул 1828 г. отец по каким-то причинам оставил его при себе в Орле, где Грановский провел еще три года, о «бесмысленности» которых впоследствии очень сожалел.

В 1831 г. он приехал в Петербург, где недолго работал мелким чиновником в Министерстве иностранных дел, параллельно серьезно готовясь к поступлению в столичный университет. Подав через год в отставку, Грановский поступил, за недостаточностью знаний древних языков, не на словесный, а на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где все равно наибольшее внимание уделял литературе, истории, философии. Ему пришлось тогда начать зарабатывать на жизнь самому (отец часто забывал прислать денег), и вместе со старшим другом Евгением Коршем, будущим известным журналистом, он стал активно сотрудничать в популярной тогда «Библиотеке для чтения» О. Сенковского, где помещал переводы, рецензии, небольшие статьи. Литературные дарования Грановского обратили на себя внимание, в частности, известного литератора и преподавателя университета П.А. Плетнева. Обладая обширными знакомствами, тот ввел Грановского в литературные круги обеих российских столиц, познакомил с В.А. Жуковским, В.Ф. Одоевским, А.С. Пушкиным.

После окончания университета Грановский несколько месяцев служил библиотекарем при Главном морском штабе. Бывая в Москве, он в 1836 г. познакомился с Николаем Станкевичем и примкнул к его кружку «молодых гегельянцев». Один из членов кружка, Владимир Ржевский (из помещиков Мценского уезда, сосед И.С. Тургенева), сыграл важную роль в дальнейшей биографии Грановского. Пользуясь близким знакомством с попечителем Московского учебного округа, графом С.Г. Строгановым, Ржевский включил Грановского в группу молодых людей, командируемых для продолжения образования и подготовки к профессорскому званию в Германию.

Обучаясь в 1836-1839 гг. в Берлинском университете истории, философии и языкам, Грановский получил уникальную возможность общения с корифеями европейской науки. Особое влияние на него оказали историки и политологи Леопольд Ранке и Фридрих Раумер, один из основоположников новейшей географии Карл Риттер, юрист Фридрих Савиньи, философы-гегельянцы Эдуард Ганс и Карл Вердер. В Берлине Грановский еще более сдружился с лидером русских «гегельянцев», удивительным человеком и ярким мыслителем Николаем Владимировичем Станкевичем.

А.И. Герцен, хорошо знавший и Грановского, и Станкевича, очень глубоко и точно, как представляется, описал характер их общения в университетском Берлине: «Жизнь Грановского в Берлине с Станкевичем была, по рассказам одного и письмам другого, одной из ярко-светлых полос существования, где избыток молодости, сил,

первых страстных порывов, беззлобной иронии и шалости шли вместе с серьезными учеными занятиями, и все это согретое, обнятое горячей, глубокой дружбой, такой, какую дружба только бывает в юности... Кто знал их обоих, тот поймет, как быстро Грановский и Станкевич должны были ринуться друг к другу. В них было так много сходного в нраве, в направлении, в летах... и оба носили в груди своей роковой зародыш преждевременной смерти...» «Но для кровной связи, для неразрывного родства людей, – продолжает Герцен, – сходства недостаточно. Та любовь только глубока и прочна, которая восполняет друг друга, для деятельной любви – различие нужно столько же, сколько сходство; без него чувство вяло, страдательно и обращается в привычку. В стремлениях и силе двух юношей было огромное различие. Станкевич, с ранних лет закаленный гегелевской диалектикой, имел резкие спекулятивные способности, и если он вносил эстетический элемент в свое мышление, то, без сомнения, он столько же философии вносил в свою эстетику. Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда бы не вышел ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив, страстно занимали его. И разве история – не та же мысль и не та же природа, выраженные иным проявлением; Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду».

Ранней осенью 1839 г. молодой историк-гегельянец Грановский приехал в Москву и 17 сентября прочел свою первую лекцию по всеобщей истории университетским филологам и юристам, очень быстро завоевав симпатии студенчества. В то время в Москве Грановский впервые познакомился с Герценом, который впоследствии вспоминал: «Он мне понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами с насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский пальто с бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюм, темные волосы – все это придавало столько изящества и грации его личности, стоявшей на пределе ушедшей юности, и богато развертывающейся возмужалости, что и не увлекающемуся человеку



нельзя было остаться равнодушным к нему. Я же всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой».

Несмотря на тихий голос и скверную дикцию, Грановский, получивший дружеское прозвище «шепелявый профессор», вскоре стал самым популярным лектором университета. Слушатели, приходившие с разных факультетов и до отказа заполнявшие лекционную залу, вполне понимали главное: прогрессистские настроения молодого профессора-европеиста шли вразрез с господствовавшей в николаевскую эпоху и административно насаждаемой «теорией официальной народности», объясняющей незыблемость русских порядков раз и навсегда заданным «цивилизационным кодом». «Несмотря на обилие материалов, – вспоминал один из учеников Грановского, глубоко проникнувшийся его гегельянской историософией, – на многообразие явлений исторической жизни, несмотря на особую красоту некоторых эпизодов, которые, по-видимому, могли бы отвлечь слушателя от общего, – слушателю всюду чувствовалось присутствие какой-то идущей, вечно неизменной силы. Век гремел, бился, скорбел, и отходил, а выработанное им с поразительной яркостью выступало и воспринималось другим. История у Грановского действительно была изображением великого шествия народов к вечным целям, постановленным человеку Провидением».

Позднее это удивительное свойство Грановского – «мыслить и учить историей» – особенно ценил другой выдающийся русский историк, В.О. Ключевский, который полагал, что именно от Грановского «пошло университетское предание, которое чувствует, которое носит в себе всякий русский образованный человек»: «Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушатели выносили из его лекций веру в свое будущее, ту веру, которая светила им путеводной звездой среди самых беспросветных ночей нашей жизни... История, сохраняя в чтениях Грановского свой строгий характер науки, становилась учительницей жизни...»

Довольно быстро универсалист и либерал Грановский убедился в существовании в московском университете сильной «самобытной партии» во главе с С.П. Шевыревым. Шевырев до этого несколько лет прожил в Италии, обладал большой эрудицией в области истории русской словесности и поначалу пользовался авторитетом у студентов. Однако очень скоро его личностные качества стали вызывать нарастающее неприятие. Даже его коллега и тоже «самобытник» М.П. Погодин вынужден был признать: «С возбужденными всегда нервами вследствие усиленной работы и разнообразных занятий, он делался иногда, может быть, неприятным или

даже тяжелым, вследствие своей взыскательности, требовательности, запальчивости и невоздержанности на язык». Студентам явно претили очевидные факты заискивания Шевырева перед «сильными мира сего», его грубость с подчиненными, и даже его женитьба (как все считали, «по расчету») на воспитаннице князя Б.В. Голицына (брата московского губернатора) – С.Б. Зеленской.

Похоже, разделение тогдашней университетской профессуры на две «партии» – самобытников и европеистов, консерваторов и либералов, имело в своей основе не только различия мировоззренческие, но и, так сказать, «стилистические», что для чуткого к таким вещам студенчества имело немалое значение. В этом смысле «искательствующему почестей», «трескучему» на кафедре и бесцеремонному в быту Шевыреву (через несколько лет из-за публичной драки с графом Бобринским ему пришлось оставить университет) зримо противостоял независимый, скромный, обаятельный и демократичный Грановский, который никогда не ограничивал своего общения со студентами формальными отношениями. «Мне, – написал он как-то Станкевичу, – по приезде сюда советовали держать себя подалее от студентов, потому что они "легко забываются". Я не послушал и хорошо сделал. В исполнение моих обязанностей я не сделаю никакой уступки, но вне обязанностей мне нельзя запретить быть приятелем со студентами». Студенческий выбор между «партией Шевырева» (М.П. Погодин, И.И. Давыдов, О.М. Бодянский) и «партией Грановского» (куда входили «западники» Н.И. Крылов, П.Г. Редкин, К.Д. Кавелин, Д.Л. Крюков, П.Н. Кудрявцев) был предопределен.

«Стилистику» поведения Грановского в Московском университете, тайну его обаяния и авторитета блестяще раскрыл Герцен в посвященной уже умершему к тому времени другу главе в «Былом и думах»: «Грановский напоминает мне ряд задумчиво покойных проповедников-революционеров времен Реформации – не тех бурных, грозных, которые в "гневе своем чувствуют вполне свою жизнь", как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей. Таков был сам Колиньи, лучшие из жирондистов, и, действительно, Грановский, по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по любви к крайностям скорее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист или монтаньяр».

Однако при всей внешней приветливости и невозмутимости, Грановский был настоящим и бескомпромиссным вождем «либералов» в Московском университете. Среди непрекращающихся «позиционных боев» между двумя «профессорскими партиями» особенно запомнился московским студентам такой случай. В начале 1842 г. «западник» В.Г. Белинский опубликовал в санкт-петербургских «Отечественных записках» едкий памфлет против Шевырева под названием «Педант». Оскорбленный Шевырев пытался апеллировать к «солидарности москвичей» и публично спросил своего коллегу (и подчиненного) по университету Грановского, может ли тот теперь подать руку Белинскому. «Как! Подать руку? – вспыхнул Грановский. – На площади обниму!» В.П. Боткин написал тогда Белинскому: «Удар произвел действие, превзошедшее ожидания: у Шевырева вытянулось лицо, и он не показывался эту неделю в обществах».

В 1841 г. Грановский женился на восемнадцатилетней Елизавете Богдановне, урожденной Мюльгаузен – дочери врача Фридриха-Вильгельма Мюльгаузена. В доме тестя бережно хранились документы, связанные с общением хозяина с Константином Батюшковым и Александром Пушкиным, которых доктор Мюльгаузен когда-то лечил в Крыму от лихорадки.

Большой теплотой наполнены строки Герцена в «Былом и думах», посвященные отношениям Тимофея Николаевича и Елизаветы Богдановны Грановских: «Любовь Грановского к ней была тихая, кроткая дружба, больше глубокая и нежная, чем страстная. Что-то спокойное, трогательно тихое царило в их молодом доме. Душе было хорошо видеть иной раз возле Грановского, поглощенного своими занятиями, его высокую, гнущуюся как ветка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тут, глядя на них, думал о тех ясных и целомудренных семьях первых протестантов, которые безбоязненно пели гонимые псалмы, готовые рука в руку спокойно и твердо идти перед инквизитором».

Осенью 1843 г. Грановский с друзьями задумал свой первый курс публичных лекций – небывалого дотоле общественного явления. Помимо традиционного приглашения друзей и знакомых, были распространены платные абонементы по 50 рублей за штуку. Герцен писал тогда Н.Х. Кетчеру: «Beau monde собирается к нему, и Петр Яковлевич (Чаадаев. – А.К.) говорит, что это событие». К началу ноября было уже собрано 2500 рублей – солидная сумма.

Уникальное для «николаевской эпохи» публичное интеллектуальное действие в самом центре Москвы (лекции должны были проходить в актовом зале Московского императорского университета)

быстро поляризовало московское общество. Грановский, по-видимому, впервые в жизни явственно осознал, что у него есть не только друзья и почитатели, но и откровенные враги. 15 ноября 1843 г. он писал Кетчеру: «У меня много врагов. Не знаю, откуда они взялись; лично я едва ли кого оскорбил, следовательно, источник вражды в противоположности мнений. Постараюсь оправдать и заслужить вражду моих врагов».

23 ноября 1843 г. Грановский прочел в Университете свою первую публичную лекцию по истории средних веков. Весь курс был построен на универсальной историософии Гегеля, что Грановский (без упоминания имени) обозначил в самом начале чтений. Уже первую лекцию Грановского Герцен характеризовал в своем дневнике как «камень в голову узких националистов...».

Сам Грановский был крайне вдохновлен своим дебютом на публичных слушаниях, по сути, на новом для себя поприще – общественном. В середине декабря 1843 г. он писал Кетчеру: «Недоставало мне эти дни. В жизни моей я не испытал таких тревог и волнений. Лекции мои произвели более впечатления, нежели я ожидал. В аудитории нет места, дамы приезжают за полчаса до начала, чтобы сесть поближе... Хвалят и бранят не в меру... Я начал ругаться с первой лекции, после которой Шевырев поседел и состарился... Шевырев обнаружился вполне: он очень хлопотал до начала лекций, упрекал за то, что я не предупредил его и через это лишил его возможности доставить большее число слушателей. Одним словом, являлся покровителем молодого таланта, а когда лекции начались и пошли хорошо, он приуныл и отпустил уже несколько ядовитых фраз насчет моего направления и пристрастия к известным идеям».

Однако и в те дни Грановский не лишился характерной для него самоиронии: «На первой лекции я, было, очень сконфузился и несколько раз высморкался без всякой внутренней потребности...» Он с юмором выслушивал оценки друзей, например, едкого А.Д. Галахова, который уверял, что Грановский «благодарил публику с таким видом, как будто чихнул, а публика сказала ему: желаю здравствовать...». Другие советовали оратору вести себя «театральнее», «чтобы, всходя на кафедру, я делал приятный жест рукой». Грановский отверг дружеские советы: «Я ограничиваюсь одним поклоном и не намерен делать более».

Успех первых публичных лекций Грановского удивил даже друзей. Герцен писал: «Я всегда был убежден, что он прекрасно будет читать; но признаюсь, он превзошел мои ожидания, при всей бедности его органа, при том, что он в разговоре говорит, останав-

ливаясь, – на кафедре увлекательный талант, что за благородство языка, что за живое изучение своего предмета... Какая округлость в каждой лекции, какой широкий взгляд и какая гуманность – это художественный, полный энергии и любви рассказ. Одна беда: орган плох, на задних лавках худо слышно».

Еще более поразила Герцена реакция московской публики: «И Москва отличилась, просто давка, за 1/4 часа места нельзя достать, множество дам..., и все как-то так кругло идет. Сверх билетов, розданных даром, без малого сто взяты (ergo около 5000 р.)» (из письма Кетчеру 2-3 декабря 1843 г.); «Публика, может, сначала стала собираться шутя, курьезу ради, – но вскоре она была увлечена ей вовсе неведомым наслаждением энергической всенародной речью; смелая чистота и романтическая нежность, открыто благородный образ мыслей, вера в прогресс и любовь к каждой увядающей форме – возбуждали un fremissement de sympathie (прилив симпатии. – фр.)» (из письма Кетчеру 27 апреля 1844 г.).

Между тем, лидер университетских «славян», Шевырев, поначалу вроде поддержал лекции Грановского. «Мы искренно рады тому прекрасному зрелищу, – так начал он свою статью в «Москвитянине», – которое Московский университет представляет у нас по вторникам и субботам». Далее, однако, Шевырев обвинил Грановского во многих грехах: что в основу курса положена далекая от понимания «русскости» философия истории Гегеля, что Грановский «отклонил от себя изображение борьбы христианства с язычеством и историю образования церкви» и т.п. Герцен охарактеризовал тогда Шевырева и редакцию «Москвитянина» как «добровольных помощников жандармов»: «Они негодуют на Грановского за то, что он не читает о России (читал о средних веках в Европе), не толкует о православии, негодуют, что он стоит со стороны западной науки (когда восточной вовсе нет) и что будто бы мало говорит о христианстве вообще».

На все обвинения Грановский был вынужден отвечать в очередных лекциях: чтения окончательно сделались полемическими, а, стало быть, – политическими. Герцен точно заметил: «В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее». Через какое-то время, когда противники начали открытую кампанию за запрещение лекций Грановского, и ранее благоволивший Грановскому граф Строганов был вынужден вынести ему серьезное предупреждение, Герцен посчитал, что в любом случае свою миссию лекции Грановского уже выполнили: «Может, власть наложит

свою лапу, закроют курс, но дело сделано, указан новый образ действия университета на публику».

Между тем, после небольшого перерыва, связанного с Новым годом и Рождеством (у Герцена в те дни родился сын Николай, и Грановский стал его крестным отцом), лекции продолжились с еще большим успехом. Герцен отмечал: «Лекции Грановского продолжаются с чудовищным успехом, и он растет, читая. Что за живой, широкий взгляд, что за язык – просто удивленье... Шевырев и С-ние, удивленные успехом, как-то смолкли, закусив губы...» (из письма Кетчеру 1 марта 1844 г.); «А Грановский – черт его знает, что его прорвало – со всякой лекцией лучше и лучше. Он как-то вдохновляется на кафедре. Речь идет плавно, грустный элемент, присущий ему всегда и во всем, не мешает торжественному *maestoso* – просто каждая лекция художественное произведение. Аудитория так бывает полна, что нет места всем сидеть» (из письма Кетчеру 15-16 марта 1844 г.).

Заключительный день чтений, 22 апреля 1844 г., стал триумфом Грановского. Герцен вспоминал: «Такого торжественного дня на моей памяти нет... Аудитория была битком набита, Грановский заключил превосходно; он постиг искусство как-то нежно, тихо коснуться таких заповедных сторон сердца, что оно само, радуясь, трепещет и обливается кровью... Окончив, он встал. "Благодарю, – говорил он, – тех, которые сочувствовали с моими убеждениями и оценили добросовестность, благодарю и тех, которые, не разделяя их, с открытым челом, благородно высказывали мне несколько раз свое несогласие"; при этих словах он как-то весь трепетал, и слезы были на глазах, когда он еще раз сказал: "Еще раз благодарю вас". Что было потом, нельзя себе представить, крики "браво, прекрасно", треск, шум, слезы на всех глазах, дамы жали его руки etc, etc.» (из письма Кетчеру 27 апреля 1844 г.).

В тот день в доме С.Т. Аксакова был приготовлен торжественный обед с преподнесением памятных подарков. «Всё напилось, – вспоминал Герцен, – даже Петр Яковлевич (Чаадаев. – А.К.) уверяет, что на другой день болела голова, я слезно целовался с Шевыревым... За пиром продолжалась та же энергия и воодушевление. Распоряжались обедом Самарин, я и Сергей Тимофеевич Аксаков. Вина выпито количество гигантское и NB не было сотерну, лафиту меньше 9 рублей бутылка...» Поэт Николай Языков, открыто сочувствовавший славянофильской партии, был также вынужден признать: «Обед Грановского был очень пышен и очень весел, т.е. пьян. Противные партии на нем не только что съехались, но и сошлись, обнимались и целовались». Правда, поэт-славянофил сде-

лал в конце характерное прибавление: «Но мне как-то не верится, чтобы Запад мог искренне помириться или помириться с Востоком!» И Языков не ошибся – более того, сделал все для скорейшего прекращения временного перемирия славянофилов и западников. Дело едва мне закончилось дуэлями между представителями враждебных «партий».

В последующие годы Грановский с успехом продолжил опыт публичных чтений: в 1845-1846 гг. он прочел курс сравнительной истории Англии и Франции, а в 1851 г. свои, ставшие знаменитыми, «четыре характеристики» (Тамерлан, Александр Великий, Людовик IX, Бэкон).

Наиболее серьезными научными трудами Грановского в 1840-х гг. были две его диссертационные работы. В магистерской диссертации «Волин, Иомсбург и Винета» автор (в немалой степени – в пику «самобытникам») на основании различных источников убедительно доказал, что легендарная «Винета» – «величественная столица» прибалтийских «славян-венедов» есть не что иное, как красивый миф, в котором перемешались представления о славянском торговом городе Волине и норманнской крепости Иомбург. «Националисты» были вне себя от ярости, – и это понятно: ведь Погодин, например, в своих работах много сил положил на доказательство того, что могущество «славян-венедов» простиралось вплоть до Средиземноморья: их руками, например, согласно Погодину, была построена Венеция!

История с защитой магистерской диссертации Грановского ввергла две враждующие «профессорские партии» в состояние открытой войны. «Самобытники» попытались снять диссертацию Грановского с защиты, повторив тактику, успешно примененную ими в отношении работы по истории римского папства ученика Грановского, П.Н. Кудрявцева, – с формулировкой: «за несогласие с учением Православной церкви». В середине ноября 1844 г. Герцен писал Кетчеру: «Славянофильство доходит до какого-то комического безумия... Потеря этой фортеции (речь идет о развенчании Грановским мифа о славянской «Винете». – А.К.) свела с ума Шевырева, Бодянского и компанию, плач и стенание. Сарагосса взята, они начали делать Грановскому всевозможные неприятности, чтоб возвратить от факультета диссертацию etc.»

Однако сам Грановский был уже готов к такому повороту событий. В новогоднем письме от 1 января 1845 г. он писал Кетчеру: «Диссертацию я не защищал до сих пор, потому что друзья мои, Давыдов и Шевырев, при пособии Бодянского (все – члены партии «самобытников». – А.К.) хотели возвратить ее мне назад с позором.

Я просто не взял и потребовал тот них письменного изложения причины. Разумеется, они уступили...»

Магистерский диспут Грановского состоялся 21 февраля 1845 г. и закончился полным успехом диссертанта: аудитория поддержала его дружными аплодисментами и криками «браво!»; неприятели-самобытники были «зашиканы» и посрамлены. Шевырев жаловался тогда на «студентов-хулиганов» московскому попечителю, графу Строганову. Герцен, в свою очередь, написал в те дни письмо к славянофилу Ю.Ф. Самарину, к которому относился с уважением и порывать связь с которым не собирался: «Теперь позвольте (основываясь на том праве искренней речи, о котором вы пишете) вам сказать несколько слов о славянской партии. С каждым днем грузнет она в жалкую, ненавидящую и готовую преследовать односторонность. Наконец, ее действия увидела публика, и общественный голос осудил ее. Я говорю о диссертации Грановского. Ряд гнусных проделок предшествовал диспуту, наконец, на диспуте явился Бодянский – дерзко, неделикатно, с оскорблениями и колкостями, его проводили шиканьем, а равно и Шевырева... Грановского проводили страшным «браво»... Раздраженное самолюбие, сознание своего бессилия, шиканье – все это вместе окончательно сорвало личину с хваленой славянской любви... Если б вы видели благородную кротость, самоотверженность (да, в этом высокое самоотвержение – публично уметь с кротостью принять наглую дерзость, кабацкий тон) Грановского, вы согласились бы, что любовь совместима и не с вашим воззрением. Может, они интригами и вздуют из этого дело, может, Грановский должен будет оставить университет. Я не завидую им в этой победе!...»

19 декабря 1849 г. Грановский защитил докторскую диссертацию «Аббат Сугерий. Об общинах во Франции», где, в ходе аналитического жизнеописания настоятеля аббатства Сен-Дени под Парижем, показал историю взаимодействия государства и церкви в деле становления современной европейской цивилизации. В том же, 1849 г., Грановский был вынужден пройти «испытание в Законе», на котором он «принес свои объяснения» московскому митрополиту Филарету в том, насколько его преподавательская деятельность соответствует догматам православной церкви.

Однако намного больше печалил Грановского факт все большего расхождения его, умеренного либерала, идеалиста и просветителя, с бывшими друзьями – Герценом, Огаревым и др., все более уходившими в сторону политического радикализма. Между тем, переписка со ставшим в 1847 г. эмигрантом Герценом, хотя изредка, но продолжалась: в самые горькие минуты Грановский всегда мог



рассчитывать на моральную поддержку старинного друга. «Положение наше, – писал Грановский Герцену в 1850 г., – становится нестерпимее день от дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом. Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничили следующими, уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В Московском 1400 человек студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтоб иметь право принять сотню новых... Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением... Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее, – когда же развалится этот мир?.. Я решился не идти в отставку и ждать на месте совершения судеб. Кое-что можно делать – пусть выгонят сами». В одном из своих последних писем Герцену Грановский писал: «Слышен глухой общий ропот, но где силы? Где противодействие? Тяжело, брат, – а выхода нет живому».

Несмотря на глубокие идейные несогласия, эмигрант Герцен очень высоко оценивал подвижническую деятельность в России профессора Грановского: «А ведь Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительно нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова его действовали, но и его молчание... Грановский сумел в мрачную годину гонений, от 1848 года до смерти Николая, сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей».

Внезапная кончина императора Николая Павловича в феврале 1855 г. и воцарение его сына Александра II, казалось, не только привели к серьезным изменениям в жизни страны, но и благотворно отразились на положении самого Грановского. В мае 1855 г. приободрившаяся московская профессура выбрала его (вместо Шевырева) деканом историко-филологического факультета Московского университета. Грановский получил звание «коллежского советника» (гражданский чин VI класса в «Табели о рангах», соответствующий воинскому званию полковника) и был награжден орденом Анны 2-й

степени... Однако сердце Грановского, никогда не отличавшегося завидным здоровьем, было уже необратимо изношено.

Тимофей Николаевич Грановский скончался от внезапного инфаркта 4 октября 1855 г. в своем доме в Малом Харитоньевском переулке в возрасте 42 лет. 6 октября вечером друзья и студенты собрались на его квартире, а затем перевезли гроб с телом в Университетскую церковь Святой великомученицы Татьяны на Большой Никитской, где и провели остаток ночи перед похоронами. (Тогда и зародилась между товарищами и учениками Грановского, раскиданными жизнью по всей России, традиция собираться каждый год 6 октября на его могиле).

7 октября утром, после отпевания, большая толпа людей двинулась вслед за гробом через Моховую, Лубянку, Сретенку, Мещанскую на Пятницкое (Крестовское) кладбище Москвы; здесь университет приобрел участок земли в 3-ем, самом скромном разряде, где хоронили московскую бедноту. Друзья, ученики, студенты несли гроб на руках до самой могилы. Товарищ Грановского, историк и этнограф И.Г. Прыжов вспоминал: «Во всю дорогу два студента несли перед гробом неистощимую корзину цветов и усыпали ими путь, а впереди шел архимандрит Леонид, окруженный толпою друзей покойного. Пришли к могиле... Опустили в могилу Грановского и плотно укрыли ее лавровыми венками». Позднее, на деньги, собранные студентами, над могилой был установлен обелиск из темно-красного гранита. На нем надпись: «Тимофею Николаевичу Грановскому (1813-1855). Студенты Московского университета».

Елизавета Богдановна пережила мужа лишь на два года; в 1857 г. она скончалась в возрасте 33-х лет и была похоронена рядом с Грановским.

Споры об уникальной роли, сыгранной Тимофеем Николаевичем Грановским в истории русской культуры и общественной жизни, с его кончиной лишь усилились. Характерно, например, что профессор-историк остался одной из главных мишеней со стороны «самобытнической партии». В черновых записях к роману «Бесы» Федор Достоевский прямо отождествляет Степана Трофимовича Верховенского – с Грановским, а его сына Петра Верховенского – с Нечаевым. Просветитель-европеист Грановский – идейный предшественник террориста-убийцы Нечаева – возможно ли такое?

«Почвенник» Достоевский был в этом абсолютно уверен и настаивал на своей правоте. Когда в 1873 г. «Бесы» вышли отдельным изданием, писатель послал экземпляр книги наследнику-цесаревичу Александру Александровичу (будущему Александру III) с сопроводительным письмом, в котором, в частности, говорилось:

«Главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем». Напомним, что в числе «духовных отцов» Нечаева Достоевский неоднократно называл также Ивана Сергеевича Тургенева – в «Бесах» он выведен в образе Кармазинова. Но в том, конкретном случае с посланием наследнику русского престола писатель удержался от прямого доноительства на живого человека: все-таки упомянутые в письме Белинский и Грановский к тому времени давно уже умерли.

Обвинения «западника» Грановского в «непатриотизме», а иногда и в прямом «национальном нигилизме» со времен Достоевского не утихли. Эти инвективы не только несправедливы, но и исторически ущербны. Очень точно высказался по этому поводу другой великий русский историк, Василий Осипович Ключевский, которого и самого, несмотря на сугубые занятия русской историей, тоже упрекали и в «западничестве», и в «либерализме». В 1905 г., когда в России отмечалось 50-летие кончины Грановского, Ключевский заметил: «Лекции Грановского о Греции и Риме, о феодальном средневековье воспитывали деятельную любовь к русскому Отечеству, ту энтузиастическую жажду работы на его благо, ту крепость общественного духа, которая помогла лучшим русским людям минувшего полувека пронести на своих плечах, сквозь вековые препятствия, все тягости преобразовательной эпохи... В эпоху общего нравственного колебания и общественного уныния Грановский, вещая правду и свободу, стоял на своем месте твердо и прямо. Имя его стало лозунгом, символом общественного возрождения, совершаемого переработкой слова науки в дело жизни».

**Иван Сергеевич Тургенев:  
«Я всегда был "постепеновцем",  
либералом старого покроя...»**

Исследование истоков и эволюции мировоззрения человека, тем более человека выдающегося, – дело столь же увлекательное, сколь и рискованное. Особенно, если речь идет не о кабинетном ученом-теоретике или, например, политике, а о литераторе, гении образного мышления и мастере художественного слова. «Технически» не так сложно проследить истоки образованности, начитанности, даже энциклопедичности знаний Ивана Сергеевича Тургенева. Он с детства свободно владел тремя основными европейскими языками (к ним потом добавятся итальянский, испанский, польский, сербский, болгарский), позднее хорошо изучил латынь и греческий, профессионально знал всемирную историю и историю философии. Гораздо сложнее понять историю становления душевного склада, мировосприятия Тургенева.

Известный культуролог Г.С. Кнабе заметил однажды, что «признание Тургенева либералом, а его мировоззрения – либеральным образует одно из самых устойчивых клише истории литературы»: «Оно опирается на признания самого писателя, на суждения современников, на традицию литературоведения и сомнений вызывать не может. Сомнения возникают там, где требуется определить *содержание* такого либерализма» (курсив мой. – А.К.).

Для верного понимания *особого содержания* тургеневского либерализма Кнабе настаивает на учете двоякого толкования самого понятия «либерализм» во времена Тургенева, восходящего к аутентичной латинской этимологии этого слова, связанного с понятием «свободы»: *liber* – «свободный», и *liberalis* – «достойный свободного человека». В этом смысле, «либерал» в эпоху Тургенева – это, во-первых, человек, свободный, независимый от диктата власти, а во-вторых, – это личность, свободная, независимая от господствующих идей времени и диктата общественного мнения, от социальных и политических сил, эти идеи воплощающих.

В таком контексте можно согласиться с Кнабе, что Тургенев был либералом не только и, наверное, не столько, в первом, узкополитическом значении, сколько – и главным образом – во втором, глубинном смысле: «Отношение Тургенева к сложившейся универсальной духовной ситуации – всегда разобщенной, конфликтной, ориентированной на выбор – поражает свободой от предвзятых

предпочтений. Он чаще всего стремится не выбирать между полюсами конфликта, а понять каждый, стремится исходить из противостояния, обнаруженного в жизни, а не подчинять ее односторонне понятой ценности – той, которая представляется говорящему более высокой». Но как сформировался этот своеобразный, не корпоративно-партийный, а глубоко личный и нравственно окрашенный либерализм Тургенева?

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября 1818 г. в Орле, в семейном доме своих родителей – кавалергарда кирасирского полка, участника войн с Наполеоном Сергея Николаевича Тургенева и Варвары Петровны, урожденной Лутовиновой – богатой помещицы, наследницы крупного состояния. В 1821 г. отец вышел в отставку в чине полковника, и семья оставила Орел, перебравшись на постоянное жительство в имение Спасское-Лутовиново Мценского уезда. Орловская земля навсегда осталась любимой для Тургенева, проведшего значительную часть жизни и умершего за границей. Биограф Тургенева, писатель Б.К. Зайцев (тоже орловец) полагал даже, что именно «малая родина» обусловила особый язык Тургенева – естественный и вольный: «Фраза шла у него вольно, без длинот... Фраза будто и незаметная, естественно-кругловатая, без остроты, но и не утомляющая повторением любимых оборотов – этим именно вольная, как река, та Ока, на которой стоит его Орел... Был и западник, и барин, а вскормлен народом, писание его шло из народной стихии русской, возведенной лишь на верхи. Через него Орел говорит и Ока, но прошедшие сквозь пушкинский мир».

...В истории «эволюции души» каждого человека всегда можно обнаружить вехи, которые обозначают последовательность соприкосновений и сопереживаний с другими людьми, – людьми прошлого, даже отдаленного, и людьми настоящего, твоими современниками. В богатом семейном предании древнего рода Тургеневых, происходившего от татарского мурзы Тургена, приехавшего в 1440 г. из Орды на службу к московскому великому князю Василию Васильевичу, Тургенев особенно выделял две фигуры. В 1606 г. дворянин Петр Никитич Тургенев бесстрашно обличил в Кремле самозванца Лжедмитрия, за что был пытан и казнен отсечением головы на Лобном месте Красной площади. Другой Тургенев – Тимофей Васильевич, воевода в Царицыне, был зверски убит в 1670 г. в присутствии самого Стеньки Разина: его схватили, надели на шею веревку, привели на крутой берег Волги, прокололи копьем и утопили. Личное самостояние человека, опирающееся на внутреннюю силу, гордость и честь перед лицом как сильных мира сего, так и непро-

свещенной черни, – вот что выделял Иван Тургенев в обеих этих историях из жизни своих предков.

Что касается «современников», то в процессе своего нравственного становления сам Тургенев отмечал, прежде всего, влияние двух людей – Тимофея Николаевича Грановского и Николая Владимировича Станкевича. Знакомство с Грановским (тоже орловцем) состоялось в 1835 г. Тургенев вспоминал, что от Грановского «веяло чем-то возвышенно-чистым; ему было дано редкое и благодатное свойство не убеждениями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать прекрасное в душе другого, он был идеалист в лучшем смысле этого слова». «К нему, как к роднику близ дороги, – писал Тургенев, – всякий подходил свободно и черпал живительную влагу изучения, которая струилась тем чище, чем сам преподаватель меньше прибавлял в нее своего».

Будущий лидер русского университетского западничества и либерального просветительства, Грановский собственным примером показал Тургеневу, что либерализм (в глубинном смысле) – есть не декларативность и назидательство, а личное подвижничество, прежде всего духовное. Знакомство с Грановским было продолжено в Берлине, куда девятнадцатилетний Тургенев приехал для углубления своих познаний в области философии, истории и древних языков. Грановский и познакомил Тургенева с Николаем Станкевичем.

В биографической литературе о Тургеневе неоднократно отмечено, что тот с юных лет невзлюбил молодежную «кружковщину» – экзальтированно-восторженную и кланово-непримиримую. В этом смысле русский студенческий Берлин рубежа 1830-1840-х гг. представлял собой характерную картину, хорошо описанную Зайцевым: «По русскому обыкновению, Гегеля обратили в идола. Поставили в капище и у дверей толпились молодые жрецы, начетчики и изуверы. Воевали и сражались из-за каждой мелочи. "Абсолютная личность", "перехватывающий дух", "по себе бытие" – из-за этого близкие друг другу люди расходились на целые недели, не разговаривали между собой». Коллективное помешательство русских студентов «на Гегеле», клановая борьба вызывали у студента Тургенева внутреннее раздражение. «Был ли слишком вообще одиночка? – задавался вопросом Зайцев. – Или слишком уже художник? Он любил сам говорить, но больше рассказывал, изображал. От кружков же его отталкивало доктринерство, дух учительства. Тургенев смолоду любил духовную свободу, ведущую, конечно, к одиночеству».

Но как быть тогда со Станкевичем – бесспорным вожаком русских молодых гегельянцев в Берлине? Зайцев и здесь отвечает

точно: «Станкевич... как раз никого не подавлял, ничего не навязывал и ни перед кем не блистал. Действовал тишиной и правдой. Можно было сколько угодно разглагольствовать о Гегеле и разных других модных предметах – Станкевич просто излучал нечто, и этим воспитывал... Вначале Станкевич держался отдаленно. Тургенев робел перед ним, внутренне стеснялся. Но очарование этого болезненного (иногда впрочем, и очень веселого) юноши было огромно. Тургенев в него влюбился. Попривыкнув, вошел в воздух Станкевича, в ту высокую искренность, простоту и вместе – всегдашний полет, которые для Станкевича характерны».

В Берлине, в русском салоне супругов Фроловых, который посещали Тургенев, Грановский, Станкевич, по воспоминаниям близкого друга последнего, Я.М. Неверова, шла речь о «преимуществах народного представительства в государстве, о всеобщем участии народа в несении государственной повинности и о доступе ко всякой государственной деятельности». Однажды, когда поздно вечером Станкевич, Тургенев и Неверов вернулись домой, Станкевич произнес слова, ставшие потом идейным кредо Тургенева: «Масса русского народа остается в крепостной зависимости и потому не может пользоваться не только государственными, но и общечеловеческими правами. Нет никакого сомнения, что рано или поздно правительство снимет с народа это ярмо, но и тогда народ не сможет принять участия в управлении общественными делами, потому что для этого требуется известная степень умственного развития... А потому, кто любит Россию, тот должен желать распространения в ней образования». При этом, вспоминает далее Неверов, Станкевич «взял с нас торжественное обещание, что мы все наши силы и всю нашу деятельность посвятим этой высокой цели».

Но еще более значительным для духовного становления Тургенева стало его почти ежедневное общение с Николаем Станкевичем в 1840 г. Риме. Об этом Тургенев написал через несколько дней после смерти Станкевича (это случилось 26 июня 1840 г. в лигурийском местечке Нови) к своему другу М.А. Бакунину: «Как для меня значителен 40-й год!.. В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот, или нет – начало развития моей души?!» В этом своем письме двадцатидвухлетний Тургенев попытался, несколько сумбурно, изложить характер того влияния, которое оказал на него Станкевич. Удивительная вещь: речь опять, как и в случае с Грановским, идет не о наставлениях и назидательности старшего товарища по отношению к младшему, не о нацеливании на некую «борьбу», а скорее напротив, – о заботливом убережении от юношеского максимализма, о поощрении работы не только мысли, но и

души. К чести самого Тургенева, он сумел понять и оценить это: «Как я жадно внимал ему, я, предназначенный быть последним его товарищем, которого тон посвящал в служение истине своим примером, поэзией своей жизни, своих речей! Я его увидел – и прежде, еще непримиренный, я верил в примирение: он обогатил меня тишиной, уделом полноты – меня, еще недостойного... Я видел в нем цель и следствие великой борьбы и мог, – отложивши ее начало, – без угрызения предаться тихому созерцанию мира художества: природа улыбалась мне. Я всегда живо чувствовал ее прелесть, веяние бога в ней; но она, прекрасная, казалось, упрекала меня, бедного, слепого, исполненного тщетных сомнений; теперь я с радостью протягивал к ней руки и перед алтарем души клялся быть достойным жизни!»

Очень точно описал этот процесс «перевоспитания» молодой души Тургенева Зайцев: «Станкевич... *принял* Тургенева, полюбил таким, каков он был, ни белого, ни черного, а пестрого, живого Тургенева. И тем, что принял, любовью своей, его перевоспитывал... Главная прелесть жизни римской, конечно, вне дома, в блужданиях и экскурсиях. Тургенев со Станкевичем много выходили, много рассмотрели... "Царский сын, не знавший о своём происхождении" (так называл друга впоследствии Тургенев) доблестно водил его по Коллизеям, Ватиканам, катакомбам. Воспитание Тургенева продолжалось. Италия помогла царскому сыну отшлифовать другого юного принца, престолонаследника русской литературы. Именно в Италии, на пейзаже Лациума, вблизи "Афинской школы" и "Парнаса" Рафаэля, овладевал Тургеневым дух Станкевича – дух поэзии и правды. Прелестно, что и самую Италию увидал, узнал и полюбил он в юности. Светлый ее след остался навсегда в этом патриции». Тогда, в Риме, Тургенев, по его собственным словам, узнал про себя главное: «Перед одним человеком безоружен: перед собственным бессилием или если его духовные силы в борьбе... теперь враги мои удалились из моей груди, – и я с радостью, признав себя целым человеком, готов был с ними вступить в бой. Станкевич! Тебе я обязан своим возрождением, ты протянул мне руку и указал мне цель».

Были, разумеется, и иные фигуры, оказавшие несомненное влияние на духовное становление молодого Тургенева: Михаил и Татьяна Бакунины, Виссарион Белинский, Петр Анненков, Василий Боткин... Но были и некие внешние *обстоятельства*, которые периодически побуждали будущего великого писателя делать тот или иной жизненный выбор. Что, например, побудило юного Тургенева отправиться за продолжением образования за границу?



«Запад» манил его еще в университете. По свидетельству младшего друга Тургенева, американского писателя Генри Джеймса, Тургенев часто вспоминал о годах своего студенчества: «В юности, когда я учился в Московском университете, мои демократические тенденции и мой энтузиазм по отношению к североамериканской республике вошли в поговорку, и товарищи-студенты называли меня "американцем"».

Переведясь из Московского университета в Петербургский и окончив там полный курс по филологическому факультету, Тургенев весной 1838 г. отправился доучиваться в Берлин. Через тридцать лет он описал мотивы этого шага во «Вступлении» к своим «Литературным и житейским воспоминаниям», открывавшими, в свою очередь, новое Собрание его сочинений: «Мне было всего девятнадцать лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей... Стремление молодых людей – моих сверстников – за границу напоминало искание славянами начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так же чувствовал, что его земля (я говорю не об отечестве вообще, а о нравственном и умственном достоянии каждого) велика и обильна, а порядка в ней нет». Тургенев вспоминал, что в 1838 г., покидая Россию и отправляясь в Германию, он «весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос». Но – «делать было нечего»: «Тот быт, та среда и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал: полоса помещичья, крепостная, не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив, почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования – отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя "всех и вся", даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в "немецкое море", долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконец, вынырнул из его волн – я все-таки очутился "западником", и остался им навсегда».

В 1842 г., уже в России, Иван Тургенев успешно сдал магистерские экзамены в расчете получить место профессора философии в одном из столичных университетов, но цепочка случайностей помешала этому – судьба словно расчищала ему путь к иному по-

прищу. Когда в 1847 г. Тургенев снова и надолго уезжал в Европу, его антикрепостнические убеждения были уже окончательно сформированы. «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера, – писал он в 1868 г. – Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, – с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить...» Добавим, что в этом описании причин своего «исхода на Запад» Тургенев выставляет на первый план мотивы исключительно идейные и умалчивает о «сердечных». Между тем немалую роль в его тогдашней поездке сначала в Германию, а затем во Францию, – и друзьям это было отлично известно – сыграло его увлечение испано-французской певицей Полиной Виардо-Гарсиа...

Три года Тургенев провел тогда за границей и лишь в 1850 г. вернулся в Россию, уже известным автором, и в первую очередь – «Записок охотника», в которых Иван Аксаков увидел «стройный ряд нападений, целый батальонный огонь против помещичьего быта России». А весной 1852 г. Тургенев неожиданно обрел на родине печальный опыт месячной тюремной «отсидки», а потом и годичной ссылки в Спасское за, как ему казалось, достаточно безобидную провинность – публикацию некролога на смерть Н.В. Гоголя, напечатанного в одном из московских журналов. Демонстративная и неадекватная жестокость властей, похоже, нанесла Тургеневу сильнейшую и до конца жизни не изжитую травму. Он пытался тогда апеллировать к наследнику престола, великому князю Александру Николаевичу; меры в отношении Тургенева были действительно несколько смягчены (в 1853 г. ему было разрешено посещать столицу), и писатель посчитал это прямым следствием вмешательства Цесаревича.

Кончина императора Николая Павловича и воцарение Александра II, окончание Крымской войны сыграли важную роль в судьбе многих русских интеллектуалов. О серьезных реформах пока не было речи, но тысячи русских вновь получили возможность свободно выезжать за границу. Получил заграничный паспорт и Тургенев: «Позволение ехать за границу меня радует, – писал он в июне 1856 г. графине Ламберт, – и в то же время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать. В мои годы уехать за границу –

значит: определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни. Что делать! Видно такова моя судьба. Впрочем, и то сказать: люди без твердости в характере любят сочинять себе "судьбу"; это избавляет их от необходимости иметь собственную волю – и от ответственности перед самими собою». Причины такого положения Тургенев объяснил далее особенностями русской жизни: «У нас нет идеала – вот отчего все это происходит. А идеал дается только сильным гражданским бытом, искусством (или наукой) и религией. Но не всякий родится афинянином или англичанином, художником или ученым – и религия не всякому дается – тотчас. Будем ждать и верить – и знать, что пока мы дурачимся. Это сознание все-таки может быть полезным».

Когда-то Европа дала Тургеневу возможность сначала учиться, а потом свободно писать, но она не могла ему, русскому писателю, гарантировать душевный комфорт всякий раз. Как и предвидел Тургенев, Париж середины 1850-х гг. не стал для него вождельным раем, стимулирующим творчество. Более того, письма самым близким людям обнаруживают, напротив, тяжелейший нравственный и творческий кризис: «Обанкротился человек – и полно; толковать нечего. Я постоянно чувствую себя сором, который забыли вымести... Третьего дня я не сжег (потому что боялся впасть в подражание Гоголю), но изорвал и бросил в water-closet все мои начинания, планы и т.д. Все это вздор. Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет – были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали – повторяться не хочется – в отставку! Это не вспышка досады ... это выражение или плод медленно созревших убеждений» (из письма В.П. Боткину 11 февраля 1857 г.); «О себе говорить много нечего: я переживаю – или, может быть, доживаю нравственный и физический кризис, из которого выйду либо разбитый вдребезги, либо... обновленный! Нет, куда нам до обновленья – я подпертый, вот как подпирается бревнами завалившийся сарай. Бывают примеры, что такие подпертые сараи стоят весьма долго и даже годятся на разные употребления» (из письма П.В. Анненкову 3 апреля 1857 г.). Некоторый шанс на выход из тупика дала поездка в Германию, на Рейн, где Тургенев начал свою «Асю». Но подлинный прилив творческих сил произошел позднее, в Италии, где – отметим важное обстоятельство – активное сочинительство сопровождалось столь же активным участием в либеральных политических проектах.

Приехав в Рим в ноябре 1857 г., Тургенев сделал ставку на уже знакомый ему «Вечный город», как на свой последний шанс: «Если я и в Риме ничего не сделаю – останется только рукой мах-

нуть. В человеческой жизни есть мгновенья перелома, мгновенья, в которые прошедшее умирает и зарождается нечто новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело. Часто я погрешал то нетерпением, то упрямством; хотелось бы мне теперь быть поумнее. Мне скоро сорок лет; не только первая и вторая, третья молодость прошла, и пора мне сделаться если не дельным человеком, то, по крайней мере, человеком, знающим, куда он идет и чего хочет достигнуть. Я ничем не могу быть, как только литератором, – но я до сих пор был больше дилетантом. Этого вперед не будет» (из письма Е.Е. Ламберт 3 ноября 1857 г.).

И, действительно, осень, а потом зима и весна 1857-1858 гг. стали важнейшими в судьбе Тургенева: тогда, в Риме, он, несмотря на досадные приступы застарелой болезни, закончил повесть «Ася» и начал «Первую любовь» и «Дворянское гнездо» – переломные вещи в его творчестве. Об этом, втором посещении Тургеньевым Рима литератор Борис Зайцев (сам известный «римский обожатель») красиво написал в своей «Жизни Тургенева»: «Осень и Рим шли к его настроению. Некогда этот Рим наполнял красотой молодую его душу. Теперь помогал изживать горе. Виардо ему не писала – не отвечала на письма... Риму и надлежало перевести Тургенева с одного пути на другой. Нелегко это давалось. Рим пустил в ход все свои прельщения... Вечность входила в него, меняла, лечила... Иногда болезнь неприятно раздражала и томила. Темные мысли – о судьбе, смерти, бренности – именно с этого времени крепче в нем гнездятся. И все-таки Рим врачевал».

Параллельно с литературной работой, Тургенев в Риме был постоянным участником политического кружка, собиравшегося в салоне великой княгини Елены Павловны и сыгравшего большую роль в идейной подготовке «великих реформ». Участниками этого «римского кружка» были будущие известные деятели реформ князь В.А. Черкасский, князь Д.А. Оболенский, Н.Я. Ростовцев, баронесса Э.Ф. Раден и др.

Как и его товарищи, Тургенев в Риме жадно следил за событиями на родине. «Я здесь, в Риме, все это время много и часто думаю о России – что в ней делается теперь?» – вопрошал Тургенев в письме к Ламберт. В европейских газетах тогда чуть ли не ежедневно писали о строительстве в Англии самого большого в мире парохода «Левиафан», и Тургенев сравнивал с этим гигантом огромную Россию, готовившуюся встать на путь реформ: «Двинется ли этот Левиафан (подобно английскому) и войдет ли в волны, или

застрянет на полпути? До сих пор слухи приходят все только благоприятные; но затруднений бездна, а охоты, в сущности, мало. Ленив и неповоротлив русский человек, и не привык ни самостоятельно мыслить, ни последовательно действовать. Но нужда – великое слово! – поднимет и этого медведя из берлоги».

Тургенева радовали первые шаги нового императора Александра II. Особенно вдохновили его смелые рескрипты об учреждении комитетов для обсуждения крестьянского вопроса, в которых официально заявлялось о необходимости начать подготовку к освобождению крестьян от крепостной зависимости. Думая о возвращении в Россию, Тургенев предполагал лично включиться в дело крестьянского освобождения. В конце 1857 г. он сообщал из Рима Л.Н. Толстому, что «решил посвятить весь будущий год на окончательный раздел с крестьянами, – хоть все им отдам, а перестану быть "барином". На это я совершенно твердо решился, и из деревни не выеду, пока всего не кончу». Свое возвращение в Россию Тургенев связывал и с началом серьезной общественной деятельности: 9 января 1858 г. он отправил в Петербург «записку» одному из лидеров российской «реформаторской партии» А.В. Головнину (будущему министру народного просвещения), где подробно изложил идею издания специализированного журнала «Хозяйственный указатель», должного объединить эмансипаторские принципы с прагматикой аграрного дела.

Между тем, некоторые другие известия из России не могли не настораживать Тургенева. Он, в частности, заметил попытки отдельных чиновных карьеристов второго ряда, приодевшихся во входящие в моду одежды «либералов», устроить погром русского славянофильства, используя само понятие «либерализм» как административную дубинку для сведения личных счетов. Настоящий русский либерал Иван Тургенев направил тогда в европейскую прессу статью в защиту славянофилов, подчеркнув их бесспорные гражданские достоинства, их роль в деле борьбы за русскую свободу. Западник Тургенев не ошибся в своих друзьях: такие лидеры славянофильства, как Ю.Ф. Самарин или князь Черкасский сыграли большую роль в подготовке и осуществлении «великих реформ».

Можно сказать, что именно на рубеже 1850-1860-х гг. у Тургенева окончательно сложился тот либерально-западнический мировоззренческий комплекс, который был впоследствии кратко изложен во «Вступлении» к новому Собранию сочинений. Именно этот небольшой текст, написанный в Баден-Бадене в 1868 г., можно считать подлинным *credo* зрелого Тургенева. Отвечая на распространенные среди русских консерваторов упреки в «непатриотизме»,

Тургенев написал тогда: «Я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд. "Записки охотника", эти, в свое время новые, впоследствии далеко опереженные этюды, были написаны мною за границей; некоторые из них – в тяжелые минуты раздумья о том: вернуться ли мне на родину, или нет?» «Мне могут возразить, – продолжает заочную полемику с оппонентами Тургенев, – что та частичка русского духа, которая в них ("Записках охотника". – А.К.) замечается, уцелела не по милости моих западных убеждений, но несмотря на эти убеждения и помимо моей воли. Трудно спорить о подобном предмете; знаю только, что я, конечно, не написал бы "Записок охотника", если б остался в России».

В противовес вновь окрепшим тогда в России охранителям-самобытникам, понимающим патриотизм как примитивное антизападничество, Тургенев прямо декларировал выношенную им идею о том, что Россия – неотъемлемая часть Европы, и восточные славяне по историческому праву принадлежит к семье европейских народов: «Скажу также, что я никогда не признавал той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и Западной Европой, той Европой, с которой порода, язык, вера так тесно ее связывают. Не составляет ли наша, славянская раса – в глазах филолога, этнографа – одной из главных ветвей индо-германского племени? И если нельзя отрицать воздействия Греции на Рим и обоих их вместе на германо-романский мир, то на каком же основании не допускается воздействие этого – что ни говори – родственного, однородного мира на нас?» По мнению Тургенева, люди, которые под видом защиты самобытных начал стараются отлучить Россию от Европы, демонстрируют как раз крайнее неверие в русскую самобытность: «Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой, – нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец!» Тургенев ссылается при этом на собственный пример естественного соединения самобытной русскости и европейского универсализма: «Я сужу по собственному опыту: преданность моя началам, выработанным западной жизнью, не помешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленные, столь разнообразные обвинения,

помнится, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чужому слогу».

Именно на этих общих принципах Тургенев старался твердо стоять в 1860-1870-е гг., апеллируя одновременно и к русскому обществу, и к правительственным верхам, и к тем из своих друзей (например, А.И. Герцену), которые все больше уходили от здравого конструктивного европеизма в сторону революционного радикализма и возрождаемой на новый манер «русской исключительности».

Положение либерала-центриста, стремящегося не впасть ни в охранительное чиновничество, ни в радикальный нигилизм, – всегда непросто, часто – драматично. Парадоксально, но Тургеневу всегда в жизни больше нравились активные, пусть идеалистически настроенные, «Дон-Кихоты», нежели излишне рассудочные «Гамлеты» (у писателя даже есть работа, построенная на сопоставлении этих двух «типов»). В тогдашней европейской политике его больше увлекали люди типа бесстрашного революционера Гарибальди, нежели осторожного либерала Кавура – либерал Тургенев прекрасно отдавал себе отчет в этом явном противоречии. «Какая каша происходит в Италии! – писал он 1 августа 1859 г. Анненкову. – Вот где бы хорошо провести с месяц. Одно беда: пожалуй, досада возьмет нашего брата, исконного зрителя – и заставит сделать какую-нибудь глупость. Вдруг закричишь: *viva* (да здравствует. – *ит.*) *Garibaldi* или: *a basso* (долгой. – *ит.*) кого-нибудь другого – и глядь, с трех сторон розги хлещут по спине. В молодые годы это только кровь полирует; под старость – стыдно, или, как говорил при мне один отечески наказанный мужик лет 50: "оно не то что больно, а перед бабой зазорно". У нас с Вами бабы нет, а все – зазорно...»

Поклонник европейского прогресса, Тургенев верил в разумное преобразование мира и даже иногда называл это рукотворное чудо – «революцией». Но грязной стороны революций он боялся, более рассчитывая на «реформаторство сверху». Он, например, искренне симпатизировал императору Александру Николаевичу, верил в его личное расположение к себе. В конце 1860 г. Тургенев составил даже (но так в итоге и не отправил) специальный «коллективный адрес» императору с изложением ряда принципов, серьезность которых дала основание народнику-эмигранту П.Л. Лаврову говорить об этом документе, как о «проекте конституции».

В тексте «адреса» Тургенев прямо указал, что полностью отдает себе отчет в том, что подобное «выражение искренних убеждений... может встретить недоверие» со стороны царя, ибо «в нынешние смутные времена самое правдивое слово потеряло свою силу, самые чистые намерения возбуждают сомнение». Тургенев

поспешил от имени «инициаторов» заверить императора: «Мы принадлежим к числу людей, которые верят в Вас; которые не только не мыслят о перемене правительства, но взывают к власти. Мы не забыли и вся Россия не забудет вместе с нами, что эта власть освободила крестьян! (к моменту начала распространения «адреса» освобождение крестьян от крепостной зависимости считалось делом решенным. – А.К.) Мы верим в Вас, государь, но мы желаем также разумных свобод нашему отечеству, правильного и успешного развития нашим силам. Мы честно и откровенно приближаемся к престолу и просим нашего царя выслушать голос общественного мнения, обратить внимание на желание его народа». Тургеневский «адрес» декларировал ряд важных принципов: полную отмену телесных наказаний; гласность судопроизводства; прозрачность государственных доходов и расходов; расширение полномочий земства; сокращение срока солдатской службы; уравнивание в правах староверов с прочими подданными.

Характерно, что Тургенев, как автор «адреса», точно воспроизвел классическую либеральную логику рассуждений, восходящую к знаменитым «Трактатам о политическом правлении» англичанина Джона Локка. Смысл этой логики таков: либеральные преобразования есть меры неизбежные, необходимые, призванные укрепить, а не ослабить государственный порядок. «Государь! Вам скажут, что подобные слова преступны или безумны; назовут нашу просьбу требованием и прибавят, что уступать подобному требованию – значит вывести страну на путь насильственных переворотов; но мы умоляем Ваше величество не верить тем, которые будут говорить так. Мы, напротив, смеем думать, что удовлетворив справедливые желания Вашего народа, Вы навсегда устраните возможность таких потрясений, соберете вокруг себя все лучшее, все живые силы общества, подсечете под корень всякие нетерпеливые и необдуманые увлечения».

В завершение «адреса» Тургенев напомнил, что император Александр Николаевич сам уже успешно действовал в этой либеральной логике – подразумевалось, в том числе, обращение Александра II к московскому дворянству весной 1856 г., ставшее прологом целенаправленной работы по крестьянскому освобождению. «Государь, Вам угодно было сказать некогда, собравши дворян: "Дайте мне возможность стать за вас...". Дайте же и нам, всем Вашим подданным, возможность дружно и твердо встать за Вас, как за нашего вождя, не допустите мысли о разъединении блага России с Вашей властью, процветанием Вашего дома... Вы уже много



сделали..., двиньтесь вперед по начатому Вами пути, и мы все пойдем за Вами».

Перспективу распространения своего «адреса» с целью его подписания «серьезными людьми» Тургенев связывал с Артуром Бенни, идеалистом-англичанином, с которым его познакомил Герцен. Однако миссия Бенни, который до конца скрывал имя автора, успехом не увенчалась: «серьезные люди» обращения к царю не подписали, и, в конечном счете, «адрес» так и не был отправлен императору. В довершение всего, Бенни получил еще и разнос в Лондоне от Герцена, в благожелательной поддержке которого ранее не сомневался. «Предполагаемый вами адрес мог бы, при теперешней реакции, погубить вас и многих, – выговаривал ему Герцен. – Адрес умеренный, о котором вы пишете, может, и не дурен (хотя о главном вопросе – о выкупе крестьянских земель, там и не упомянуто), но вы вряд ли успеете что-нибудь сделать... Недостаточно иметь верную мысль, надобно ясно знать средства под руками».

Надеясь на «реформы сверху», Тургенев старался умерить антиправительственный пыл своего друга Герцена, эмигрировавшего в 1847 г. из России. Высоко оценивая роль герценовского «Колокола», Тургенев долгое время пытался корректировать его тактику. Он был уверен, что «Колокол» не должен огульно критиковать русскую власть вообще и по любому поводу, а, напротив, поощрять и поддерживать любые ее реформаторские начинания. Это касалось, в первую очередь, действий самого императора Александра II, который, по мнению Тургенева, лично желает реформ, но вынужден считаться с консервативной партией в своем окружении. 26 декабря 1857 г. Тургенев писал из Рима Герцену: «Не брани, пожалуйста, Александра Николаевича, а то его и без того жестоко бранят в Петербурге все реаки (реакционеры. – А.К.). За что же его эдак с двух сторон тузить – эдак он, пожалуй, и дух потеряет».

Тургенев также советовал Герцену активнее поддерживать и без особой нужды не критиковать либеральную группу в правительстве, которую тогда возглавляли великий князь Константин Николаевич (младший брат императора) и другой лидер реформаторов – Александр Васильевич Головин. В письме Герцену в Лондон от 20 декабря 1860 г. Тургенев передавал просьбу русских либералов-постепеновцев: «Также просят тебя очень щадить великого князя Константина Николаевича в твоём журнале, потому что, между прочим, он, говорят, ратоборствует, как лев, в деле эмансипации против дворянской партии – и каждое твоё немилостивое слово больно отзывается в его чувствительном сердце». В другом письме, от 30

января 1862 г., Тургенев просит Герцена уже за Головнина, назначенного незадолго до того управляющим министерством народного просвещения: «В России точно кутерьма, но прошу тебя убедительно, не трогай пока Головнина. За исключением двух, трех вынужденных и то весьма легких уступок, все, что он делает – хорошо... Я получаю очень хорошие известия о нем. Не беспокойся; если он свихнется, мы тебе его "придставим", как говорят мужики, приводя виноватых для сечения в волость...» Однако «дружеские советы» Тургенева все менее и менее принимались в расчет Герценом – бывших друзей все более разделяли не только тактические, но и глубокие мировоззренческие различия.

Место Тургенева в русской общественной жизни было парадоксальным: радикалы считали его чуть ли не охранителем, сами охранители, напротив, – чуть ли не радикалом. Любое новое произведение писателя тут же попадало под пристальный анализ партийных интерпретаторов на предмет того, «что на самом деле хотел сказать и на чьей стороне автор?» Тургенев как-то отметил, что после выхода романа «Отцы и дети» в русском обществе сложилась ситуация, которая его глубоко расстроила и обеспокоила: «Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатичных людях; я получал поздравления, чуть не лобызания, от людей противного мне лагеря, от врагов...»

Причиной, разумеется, был образ Базарова, по-разному истолкованный различными общественными силами. «В то время, как одни обвиняют меня в оскорблении молодого поколения, в отсталости, в мракобесии, извещают меня, что "с хохотом презрения сжигают мои фотографические карточки", – поражался Тургенев, другие, напротив, с негодованием упрекают меня в низкопоклонстве перед самым этим молодым поколением. "Вы ползаете у ног Базарова! – восклицает один корреспондент, – вы только притворяетесь, что осуждаете его; в сущности, вы заискиваете перед ним и ждете, как милости, одной его небрежной улыбки!"»

Тургеневу пришлось даже написать специальную статью «По поводу "Отцов и детей"» (1869), где он попытался показать, что в своем литературном творчестве он руководствуется художественными, а не политическими принципами. «Не однажды слышал я и читал в критических статьях, – отмечал Тургенев, – что я в моих произведениях "отправляюсь от идеи" или "провожаю идею"; иные меня за это хвалили, другие, напротив, порицали; с своей стороны, я должен сознаться, что никогда не покушался "создавать образ", если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие эле-

менты». «Господа критики, – продолжал писатель, – вообще не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора... Они вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что "проводит свои идеи", не хотят верить, что точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни – есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями». И далее Тургенев привел действительно удивительный и показательный пример: «Я – коренной, неисправимый западник, и нисколько этого не скрывал и не скрываю, однако я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина (в "Дворянском гнезде") все комические и пошлые стороны западничества; я заставил славянофила Лаврецкого "разбить его на всех пунктах". Почему я это сделал – я, считающий славянофильское учение ложным и бесплодным? Потому, что *в данном случае – таким именно образом, по моим* понятиям, сложилась жизнь, а я, прежде всего, хотел быть искренним и правдивым».

Однако странная судьба его художественных произведений, и, в первую очередь, «Отцов и детей» в какой-то момент побудила Тургенева искать новые формы литературного самовыражения. В романе «Дым» (1867) он, в форме сатирического памфлета, по сути дела «симметрично» разоблачил и высмеял обе «русские партии», Реакцию и Революцию – и «генералов-охранителей» (баденский «кружок Ратмирова») и «нигилистов-радикалов» («кружок Губарева»). Более чем за десять лет до «пушкинских торжеств» в Москве, Тургенев уже дал свой, либеральный ответ на ту проблему, которую, казалось, так остро поставил Достоевский в 1880 г. в своей знаменитой «пушкинской речи». Концовка той речи: «Смирись, гордый человек! Потрудись, праздный человек!», заставила, как известно, дружно аплодировать как русских западников, так и славянофилов (высоко оценил речь и присутствовавший Тургенев).

Диагноз беды – наступающего на Отечество в двуединой форме – гордыни и праздности – «нового варварства» был поставлен Достоевским верно, но вот «изгонять», как известно, он призывал главным образом «бесов-нигилистов». То, что новое варварство может прийти в Россию не только снизу, из подполья, но и с самого самодержавно-бюрократического верха – такую опасность бывший узник «Мертвого дома», а ныне убежденный консерватор, похоже, в расчет уже не брал.

Но в 1867 г. либерал Тургенев показал: «дым» заволакивает и одолевает русскую жизнь с обеих сторон; не только со стороны «нигилистов», но и со стороны «охранителей». Обе «партии» вполне стоят друг друга; обе обуяны беспредельной гордыней (т.е. абсо-

лютно нечувствительны к какой-либо критике и считают свой корпоративный мирок единственно правильным), и обе же абсолютно праздны и социально непродуктивны. В «Дыме», вопреки литературоведческим изысканиям, нет – да и не задумывалось – «положительных героев». Не являются таковыми ни Литвинов, ни Ирина, ни даже западник-резонер Потугин, хотя он и высказывает некоторые близкие автору-Тургеневу идеи. Тургенев, похоже, вообще иронизирует в «Дыме» над необходимостью выведения «положительного героя». Проветрить и очистить Россию от опасных «дымов» должны не герои-одиночки, а принципиально новые общественные отношения, способные превратить вчерашних «одиночек» в социально значимый и достаточно распространенный тип личности.

Между тем, русское общество, похоже, совсем не поняло глубинно либеральной, т.е. принципиально надпартийной сути романа Тургенева. «Объективные» авторы в десятках рецензий бросились взвешивать, кого Тургенев разоблачил больше: «ратмировцев» или «губаревцев»? Клань активно включилась в политическую интерпретацию «Дыма». Имели место молодежные сходки, в т.ч. среди русских студентов за границей, на которых молодые радикалы «выносили порицания» писателю «за критику демократии и революции». Не отстали и сановные охранители: собравшиеся в Английском клубе генералы совсем было собрались писать «коллективное письмо» Тургеневу, где отказывали ему в своем обществе. Писатель потом досадовал, что его приятель В.А. Соллогуб «отговорил их тогда от этого, растолковав им, что это будет очень глупо». «Подумайте, – восклицал Тургенев, – какое бы торжество было для меня получить такое письмо? Я бы его на стенке в золотой рамке повесил!»

Однако весной 1879 г. случилось неожиданное, в первую очередь, для самого Тургенева. Критикуемый еще недавно со всех сторон, он, приехав в Россию, обнаружил свою крайнюю востребованность в новой, снова качнувшейся к либерализму общественной ситуации. Лавров писал: «Не только либералы более взрослого поколения видели в нем наиболее честное и чистое воплощение своих стремлений, но и радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества в тех гуманных идеях, которые, *надлежащим* образом понятые, должны были фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству».

Обе русские столицы встретили писателя триумфом. Когда 13 марта Тургенева чествовали петербургские профессора и литераторы, он высказал идею единения всех культурных людей России.

Отдельно обратившись к молодежи, он пожелал, чтобы в Отечестве сбылись, наконец, слова из пушкинских «Стансов», немного переиначенные оратором: «В надежде славы и добра глядим вперед мы без боязни...» Печать разных направлений поспешила отметить: то был прямой намек на Конституцию. Через некоторое время в номер Тургенева на четвертом этаже гостиницы «Европейская» явился флигель-адъютант императора «с деликатнейшим вопросом»: «Его Императорское Величество интересуются знать, когда Вы, Иван Сергеевич, думаете отбыть за границу?»...

Вернувшись в Париж, Тургенев в первых числах апреля 1879 г. имел интересную беседу с видным немецким дипломатом Хлодвигом Гогенлоэ. Тот потом вспоминал, что русский писатель был поражен, что в России его чествовали как политика. Сам Тургенев объяснял это тем, что русское общество начало понимать, что только либералы способны предложить объединяющую идею, но беда в том, что правительство все еще отождествляет либералов с нигилистами-заговорщиками. Тургенев, по словам Гогенлоэ, напротив, считал, что поддержав либералов, правительство может привлечь на свою сторону большинство общества. «Неверно утверждают некоторые, что в России нет людей, способных к руководству делами», – говорил Тургенев и с ходу назвал с десятков дельных провинциальных либеральных чиновников и юристов. Однако, если момент будет упущен, наступит общий крах, ибо революция не способна принести стране пользу. Свои мемуары опытный политик Гогенлоэ (впоследствии, как известно, ставший рейхсканцлером и прусским министром-президентом) заключил весьма характерным образом: «Если бы я был царем Александром, я бы поручил Тургеневу составить кабинет...»

Уже через несколько дней из России пришла весть о новом покушении террористов на императора. Тургенев почти сразу написал Я.П. Полонскому: «Последнее безобразное известие меня сильно смутило, предвижу, как будут иные люди эксплуатировать это безумное покушение во вред той партии, которая, именно вследствие своих либеральных убеждений, больше всего дорожит жизнью государя, так как только от него и ждет спасительных реформ: всякая реформа у нас в России, не сходящая свыше, немислима. Все это прекрасно... но в результате выйдет то, что именно эта партия и пострадает... Очень я этим взволнован и огорчен... вот две ночи, как не сплю: все думаю, думаю – и ни до чего додуматься не могу».

Летом 1879 г. Тургенев получил за свои «литературные заслуги» степень доктора естественного права Оксфордского универси-

тета. Понятные радость и удовлетворение омрачались печальным предчувствием: «То-то, я воображаю, на меня прогневаются иные господа в любезном отечестве!»

В 1880 г. Тургенев решил снова непременно ехать в Россию, чтобы лично ответить на новую волну травли в охранительной прессе, третировавшей его чуть ли не за «тайные симпатии к террористам». Тогда в «Вестнике Европы», редактируемом другом Тургенева, либералом М.М. Стасюлевичем, был напечатан ответ Тургенева на оскорбления одного из самых ретивых его критиков, писавшего в «Московских новостях» под именем «Иногородний обыватель». «Если бы г. "Иногородний обыватель", – так начал свой ответ Тургенев, – ограничился одними посильными оскорблениями, я бы не обратил на них никакого внимания, зная, из какой "кучи" идет этот гром; но он позволяет себе заподозрить мои убеждения, мой образ мыслей, – и я не имею права отвечать на это одним презрением... В глазах нашей молодежи – так как о ней идет речь – в ее глазах, к какой бы партии она не принадлежала, я всегда был и до сих пор остался "постепеновцем", либералом старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, – принципиальным противником революций...»

Среди множества встреч, состоявшихся у приехавшего в 1880 г. в Россию Тургенева, была и встреча с «демократическими литераторами», на квартире у Г. Успенского. Один из молодых писателей, Н. Русанов, задал тогда Тургеневу непростой вопрос: не думает ли он, что в России «на носу революция»? Разве нет сходства нынешней России с предреволюционной Францией конца XVIII века? Тургенев возразил: «В то время во Франции было могущественное оппозиционное течение, и все мыслящие люди, несмотря на различные мнения, соглашались в одном: старый строй должен быть заменен новым». Но так ли единодушны сегодня общественные силы России? В стране есть реакционеры, либералы, реакционеры и их взгляды прямо противоположны. «А пока нет общего могучего течения, в котором сливались бы оппозиционные ручьи, – заключил Тургенев, – о революции, мне кажется, рановато говорить».

Весной 1882 г. во Франции у Тургенева обнаружили первые признаки смертельной болезни: привычные, казалось, подагрические боли врачи диагностировали как прогрессирующий рак позвоночника. Иван Сергеевич скончался 22 августа 1883 г. в Буживале близ Парижа. Отпевание прошло в православном соборе св. Александра Невского на улице Дарю; на Северном вокзале Парижа бы-

ла устроена «траурная часовня», где состоялся митинг перед отправкой свинцового гроба в Россию.

Первым выступил знаменитый французский историк и писатель Жозеф Эрнест Ренан. Один из русских слушателей подробно записал его речь: «Он характеризовал Тургенева, как представителя массы народа, которая в целом безгласна и может только чувствовать, не умея ясно выразить свои мысли. Ей нужен истолкователь, нужен пророк, который говорил бы за нее, умел бы изобразить ее страдания, отвергаемые теми, кому выгодно их не замечать, – ее назревшие потребности, идущие вразрез с самодовольством меньшинства. Таким человеком по отношению к своему народу был в своих произведениях Тургенев, соединяя в себе впечатлительность женщины с нечувствительностью анатома и разочарованность мыслителя с нежностью ребенка». Выступивший затем от имени французских литераторов Эдмон Абу сказал, что «для славы умершего не нужен будет величавый памятник, а несравненно дороже будет простой обрывок разорванной цепи на белой мраморной плите...».

Следование тела Тургенева по России – России уже Александра III – вызвало чрезвычайные опасения у новых руководителей русских охранных ведомств графа Д.А. Толстого и В.К. Плеве, отдавших приказ до предела сократить остановки траурного поезда и беспощадно отсекал людей, желающих попрощаться с Тургеневым. Ездивший на пограничный пункт Вержболово, чтобы принять печальный груз, друг Тургенева, историк и журналист Стасюлевич, наблюдая многочисленные препятствия, чинимые траурному кортежу, написал впоследствии, что можно было подумать, что по России везут не прах великого писателя-гуманиста, а самого «Соловья-разбойника»...

**Сергей Андреевич Муромцев:  
«Сторож, скоро ли рассвет? -  
Еще темно, но день уже близок!»**

Обращаясь к биографии Сергея Андреевича Муромцева, всегда приходится отвечать на вопрос, а кем же он был в первую очередь. Известным юристом, ученым-правоведом, навсегда вписавшим свое имя в историю развития мировой и отечественной науки права? Общественным деятелем, чьи опыты в области конституционного права относятся еще к детским и юношеским годам, а земская и общественная деятельность в многочисленных организациях не прекращалась от студенческой скамьи и до последних дней жизни? Университетским преподавателем, профессором, память об уникальном стиле преподавания которого сохранили многие поколения его учеников? Перевешивают ли семьдесят два дня его жизни – время пребывания на посту председателя Первой Государственной думы – прочие годы, и останется ли Муромцев для истории именно председателем Первого в истории страны парламента? Проще всего ответить на эти вопросы в том смысле, что все стороны его жизни и деятельности важны и заслуживают внимания и изучения и т.д. Может быть, это и верно, но опять же мы уходим от ответа, а кем же, прежде всего, был Сергей Андреевич Муромцев, кем он вошел в историю России, кем останется в памяти потомков?

Еще одним вопросом, к каковому неизбежно тяготеет биографический жанр, выступает соотнесение героя повествования с некими географическими объектами, каковые, по мнению исследователя, связаны со становлением изучаемой личности, иначе говоря, проблема «малой родины». Проблемы изучения малой родины людей, чьи имена не только вошли в историю России, но и выдержали испытание временем, вернувшись к нам после десятилетий вынужденного умолчания, сталкиваются с рядом конкретных трудностей. Прежде всего, это сама географическая локализация малой родины. Неоднократные реформы административно-территориального устройства России подарили возможность современным историкам и политикам записывать на счет конкретного региона тех, чьи имена пытаются использовать в различных, порой весьма далеких от науки целях. Во-вторых, это собственно вопрос о том, насколько тот или иной период, проведенный в определенном месте, влияет на жизненный путь человека и, соответственно, является ли факт проживания в некой местности основанием записы-



вать ее в качестве малой родины, да и само понятие малой родины вряд ли можно назвать устоявшимся. Есть и еще ряд аспектов в постановке данной проблемы, но попытаемся ответить на них на примере жизненного пути одного из столпов отечественного либерализма, председателя Первой Государственной думы Сергея Андреевича Муромцева.

Формально, малой родиной Муромцева является Санкт-Петербург, где в казармах лейб-гвардейского Московского полка он родился 23 сентября (6 октября) 1850 г. Отец Муромцева, Андрей Алексеевич, происходил из старинного дворянского рода, генеалогия которого прослеживается с XVI в. В 1854 г. отца Муромцева производят в полковники и назначают командиром Второго гренадерского запасного полка. С 1855 по 1858 гг. семья Муромцевых переезжала четыре раза. В 1858 г. переезды заканчиваются, отец Муромцева выходит в отставку и покупает себе новое имение – Лазавку (в настоящее время Новодеревеньковский район Орловской области), где посвящает себя сельскому хозяйству. Оно расположено недалеко (немногим более 30 км) от Предтечево - одного из родовых имений семьи в Новосильском уезде Тульской губернии (ныне Елецкая область, кстати, ранее также входившая в Орловскую губернию).

Бурные исторические события, прокатившиеся по Центральной России в XX в., уничтожили немало исторических мест. Не уцелела и усадьба Муромцевых, ныне это обычное среднерусское село, находящееся в отдалении от сколь-нибудь оживленных дорог. Но истории было угодно распорядиться так, чтобы фамилия Муромцевых сохранилась в прямой связи с орловской землей. Вплоть до настоящего времени на топографических картах один из небольших населенных пунктов Новодеревеньковского района Орловской области называется Муромцево. Сохранилось и прежнее название имения Муромцевых – Лазавка, а также родового имения Предтечево.

Современники характеризовали Муромцевых как людей добросердечных, благожелательных, в соответствии с эпохой демократичных, отличавшихся веселым нравом и врожденным чувством юмора и, вместе с тем, определенным легкомыслием. Будучи в большинстве своем людьми от природы одаренными, Муромцевы проявляли особые способности к математике, что превратилось в семейную традицию, которой род очень гордился. Еще одной отличительной чертой Муромцевых была их сплоченность и дружба. В воспоминаниях отмечается традиционное, многолетнее поддержание тесных родственных связей.

Иной тип дворян представлял род Костомаровых, к которому принадлежала мать С.А. Муромцева. Почти все они – в противоположность Муромцевым – были некрасивыми. На их внешности, по мнению биографов, отразилось татарское происхождение. Костомаровы отличались строгостью нравов, замкнутостью и необщительностью. Не были они и гостеприимными, а в личном плане их характеризовали как людей жестких, порою даже жестоких. В их имениях культивировались уродливые формы крепостничества. Так, двоюродный дед Муромцева был задушен своими дворовыми за истязания. В имениях же, принадлежавших Муромцевым, телесные наказания были отменены задолго до отмены крепостного права.

Первоначальное воспитание Сергей Муромцев получил под непосредственным руководством матери, женщины тихой, беззаветно преданной семье и посвятившей себя обустройству ее быта, заботам о детях, особенно нежно любившей своего старшего сына (родившиеся до него двое мальчиков умерли младенцами). Отец Муромцева в воспитание детей не вмешивался, держался от них несколько отдаленно, ограничивая свое участие в этом процессе оплатой их обучения. Биографы Муромцева также отмечают, что Андрей Алексеевич Муромцев был весьма вспыльчив и, зная за собой это качество, практически не наказывал сыновей.

Среди детей Сергей Муромцев был старшим и с ранних лет выполнял роль руководителя и советчика. До 4-5 лет у Сергея и Николая была няня, после нее ни гувернанток, ни репетиторов у мальчиков не было. Позднее интересы детей формировались под влиянием разговоров взрослых (прежде всего военных), посвященных войне и военной службе. К военным интересам присоединился интерес к сельскому хозяйству, оставшийся у Муромцева до конца жизни. В соседнем с Лазавкою имении Предтечеве в семье дяди Семена Алексеевича юный Сергей Муромцев присутствовал при обсуждении взрослыми проблем, касавшихся великих реформ, преимущественно судебной и земской. В дальнейшем это отразилось на формировании его личности в подростковом возрасте.

Муромцев сам вспоминал о том влиянии, которое оказали на него в детстве разговоры взрослых о военных делах. «Можно родиться в половине столетия, – писал он, – а чувствовать себя как бы живущим с самого начала его. Благодаря живым рассказам деду по матери Николая Андреевича Костомарова, участвовавшего молодым офицером в кампании 1814 г., эпоха Отечественной войны запечатлелась в моей памяти так, как будто бы переживалась лично. Рассказы бабушки, бывшей на 16 лет моложе своего мужа и

пережившей в десятилетнем возрасте 1812 г., пополняли картины того времени подробностями треволнений, пережитых в условиях домашней обстановки. Художественные образы "Войны и мира" вплетались потом в уже готовую канву семейных преданий. Воспоминания отца и дядей относились к николаевскому времени. Самого Николая я видел однажды из окна казармы лейб-гвардии Московского полка во время ученья, происходившего во дворе казарм».

Иного рода впечатления остались в памяти Муромцева о конце описываемого десятилетия. Раз в неделю в Лазавку доставлялись выписанные отцом «Московские ведомости», семья собиралась по вечерам в столовой и газета читалась вслух. Особый интерес возбуждали громкие события, происходившие в Европе. В памяти Муромцева особенно остро запечатлелись разговоры о подвигах Гарибальди. Почти через полвека он вспоминал, как «в массе русских семейств с замиранием сердца ожидали и с восторгом принимали известия об успехах освободительного движения в Италии. Мы, подрастающее поколение, слушая старших, принимали живое участие в общем восхищении, и образы Гарибальди и его соратников навсегда запечатлелись в нашей памяти, как светлые образы героев национального освобождения».

Близость юного Муромцева к политическим проблемам отразилась и на его детских играх. В литературе упоминается эпизод, связанный с организованной им совместно с братьями и сестрами игрой в «государство». Основой игры послужила найденная в библиотеке книга отца «Справочная книжка для русских офицеров» и, возможно, разговоры старших, прежде всего дяди, Сергея Алексеевича, услышанные Муромцевым в Предтечеве.

Его игрушечное государство «Лазавка» было не самодержавным, а конституционным, в нем имелись две палаты: Государственный совет и Палата депутатов, помещавшиеся в двух беседках дачного сада. Государство было разбито на губернии и уезды, которые были тщательно нанесены на карту «Государства Лазавки». При этом определение масштаба и съемка территории, всего более семи гектаров, были произведены при помощи самодельных инструментов. Государство развивалось во времени и пространстве, завоевывая близлежащие местности; были присоединены царства: «Гумно», «Спарта» (скотный двор), «Дементьево», «Малая Лазавка» и т.д. Муромцев выдавал сестер замуж за воображаемых правителей завоеванных держав, проводил в них реформы, строил города и т.д. Позднее он напишет историю своего государства, поместив его в Малой Азии на берегу моря, с точной хронологией и описанием исторического развития. Переезд в Москву для обуче-

ния не прервал эту игру, а продлил ее на несколько лет, обогатив знаниями, полученными в гимназии.

В возрасте 9-10 лет мальчика увлекла еще одна игра – ежедневная газета, по образцу московских, получаемых отцом в деревне, издававшаяся им на протяжении двух лет. Каждое утро на чайном столе, рядом с отцовским местом, лежал свежий номер, составленный вечером на основании собранных на кухне, в детской, в саду «сотрудниками редакции» (братьями и сестрами) сведений. Позднее по этой газете взрослые иногда наводили справки – кто из детей и когда заболел, что произошло в хозяйстве и т.п.

Эпизоды детства Муромцева, прошедшего в Лазавке, показывают, как рано начал определяться круг его будущих интересов, связанных с жизнью страны. Но к осознанному пониманию жизненной действительности он придет позже, в начале 70-х гг. В сентябре 1860 г. юного Муромцева, которому исполнилось 10 лет, родители увезли в Москву для продолжения образования в гимназии.

Гимназическое образование, по свидетельству самого Сергея Андреевича, не оказало на него сильного влияния. В письмах, написанных в период учебы в последних классах, и более поздних своих записях он отмечал: «Я начинаю убеждаться, что ни одно учебное заведение не может быть воспитателем во всей полноте и что главная движущая сила в воспитании составляет семейством». Вообще же, его переписка за 1866 г., ко времени окончания гимназии, показывает, что он уже был вполне сложившейся личностью, у которой самостоятельная работа над собой, выбор интересующих областей знаний были больше связаны с влиянием семьи и собственными взглядами на будущую жизнь, чем с воздействием гимназии и учителей.

Подростковые годы Муромцева приходятся на время реализации в России целого ряда преобразований, перевернувших жизнь общества. К числу наиболее радикальных относилась судебная и земская реформы. Юный Муромцев, подобно многим современникам, бегаёт на судебные заседания, стараясь не пропускать наиболее громких дел, вслушивается в речи новых звезд российской юриспруденции. Дискуссии в земских собраниях, конечно, не могли по своему накалу и уровню ораторского красноречия сравниться с судебными процессами, но и они привлекали публику самим фактом обсуждения общественностью насущных проблем повседневной жизни, и среди тех, кто жадно впитывал новые формы организации общественной активности, был будущий земский деятель Сергей Муромцев.

От услышанных в семье разговоров о Великих реформах, юношеского знакомства с ними он переходит к непосредственному осмыслению деятельности новых судебных и земских институтов в России, обсуждает их в переписке с родственниками, подбивает отца «выбираться в Новосиле в председатели съезда мировых судей» и т.д. И вот на страницах писем, еще по сути юноши, встречается фраза, сделавшая бы честь и более опытному человеку, о склонности «почти всех более или менее способных людей, если не в столицах, то в провинциях... отклонить от себя заботу быть избираемым в какую-либо общественную должность».

Этот круг симпатий и интересов, очевидно, был определен не школой. Здесь заметно влияние дяди, Семена Алексеевича, отставного конно-артиллерийского офицера, которое, по признанию самого Муромцева, имело для него решающее значение. «Вольтерьянец, вольнодумец, как его звали в уезде, весьма образованный по своему времени человек, резкий на слова, но добрый по существу, он был грозою местных властей, священников и полиции, и вместе с тем защитником обездоленных», заслужившим популярность среди населения сначала в роли мирового посредника, а позднее мирового судьи. Он возбудил в племяннике интерес к проводившимся тогда реформам: судебной, земской, городской. Общение с ним помогло формированию у Муромцева критического отношения к чужим мнениям и истинам. Посылая дяде свою диссертацию, он писал: «Вы прикосновенны, и очень прикосновенны к моему сочинению. Вы были человеком, у которого я с детства научился относиться критически к окружающему и не поддаваться чему-либо бессознательно, потому только, что оно есть старое. У Вас я впервые научился смелости, с которой следует громить предрассудки, каждый раз, милый дядя, когда мне приходится браться за новое дело и вести его с борьбой против всяких предрассудков, невежества, пошлости, передо мною восстает Ваш образ, служащий мне символом борьбы за правду. С самого детства я привык видеть в Вас человека, который ставил своею жизнью такую борьбу и имел достаточно мужества и перед властью и перед толпою (которая подчас бывает опаснее власти), чтобы делать свое дело до конца, как следует».

В годы студенчества Муромцева с Лазавкой связаны прежде всего периоды летнего уединения, когда он усиленно занимался, пытаясь освоить помимо юридических, еще ряд естественнонаучных дисциплин, а также такое оригинальное увлечение юности, как проектирование локомотивов и строительство в деревне локомотивов для грунтовых дорог.

Оставшись после окончания юридического факультета при университете для подготовки диссертации, Муромцев полностью отдает себя ученым занятиям. Однако в Москве работа у него пошла совсем не так быстро, как он планировал. «Сначала принялся было горячо, – писал Муромцев, – но потом чем дальше, тем больше отставал, голова начала наполняться другим, и работа полетела к черту». Возникший внутренний дискомфорт Муромцев решил привычным уже ему способом – в мае 1874 г. он вновь, как и в студенческие годы, уезжает в Лазавку, «чтобы поправить грешки и натянуть потерянное время». В работе над римским правом и диссертацией прошли лето и осень. Сдав экзамены, Муромцев закончил свою магистерскую диссертацию «О консерватизме в римской юриспруденции». Диспут по диссертации состоялся 5 апреля 1875 г., и по результатам защиты Муромцеву одновременно была предложена кафедра.

Следующее десятилетие (1875-1884 гг.) было самым плодотворным в научной жизни Муромцева. Именно в это время им были написаны его фундаментальные научные труды. На этот период приходится наиболее активная работа в Юридическом обществе и его печатном органе «Юридическом вестнике». Муромцев выступал на общественно-политической арене в качестве городского и губернского гласного, в качестве публициста и политического мыслителя. Несомненно, что этот всплеск активности в жизни Муромцева непосредственно связан с пробуждением общественного самосознания самых широких слоев российского общества. В этот период Лазавка была для него местом нечастого летнего отдыха, ученых занятий, встреч со столь милыми сердцу детскими воспоминаниями.

В 1876 г. Муромцев, собрав необходимый материал для работы над диссертацией, теперь уже докторской, отправляется для работы в имение. «Я работаю теперь над новым сочинением, которое должно послужить мне в качестве докторской диссертации, готовлю также несколько критических статей», – так описывал он этот период своей жизни. Самоотверженная работа над сочинением «Очерк общей теории гражданского права» принесла свои плоды – диссертация была окончена к ноябрю и защищена 3 декабря 1877 г. Муромцев получил степень доктора гражданского права, а с 22 февраля 1878 г. утвержден ординарным профессором по кафедре римского права.

В этот период начинается и активная земская деятельность Муромцева, но она, несмотря на его членство в Новосильском и Тульском земстве, всецело связана с Москвой. Не принимает Му-

ромцев участия и в деятельности местных дворянских обществ. Позднее, уже после роспуска Первой думы, по инициативе великого князя Владимира Александровича, дворянские собрания осудили депутатов-дворян, подписавших Выборгское воззвание. Им вменялся в вину «бесчестный поступок», в связи с чем принимались решения об их исключении из дворянского сословия. В отношении Муромцева подобное решение приняло тульское дворянство, продемонстрировавшее, по мнению современников, «свое собственное ничтожество».

В начале восьмидесятых годов в жизни Сергея Андреевича Муромцева происходит судьбоносное событие. В 1882 г. заканчивается холостяцкий период его жизни. Он сочетается браком с известной оперной певицей Марией Николаевной Климентовой, певшей в Большом театре, бывшей в юности первой исполнительницей партии Татьяны в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Климентова-Муромцева была женщиной талантливой и незаурядной, она переписывалась со многими известными людьми своего времени, была дружна и с семьей Л.Н. Толстого, часто навещала их в Хамовниках и Ясной Поляне, пела для Льва Николаевича, который считал ее не только замечательной певицей, но еще и увлекательной рассказчицей.

В следующем году, 9 мая, у Муромцевых рождается первая дочь Ольга, а 23 сентября 1884 г. – вторая – Мария. В жизни Муромцева начался новый период, тесно связанный с Лазавкой и характеризующийся значительным сокращением общественной активности, отходом от политической публицистики. Основное место занимает личная жизнь и наконец-то обретенное семейное счастье. Из переписки с ближними в значительной мере уходит общественно-политическая тематика, ее место занимают подробности личной жизни, быта, хозяйства в Лазавке, где семья проводит немало времени. На этот момент Муромцев имел два родовых имения (во Владимирской губернии 12,5 и 13 десятин) и два приобретенных имения (в Тульской губернии 880 и 200 десятин). Кроме того, он владел двумя домами в Москве на Арбате. Но ежегодно он возвращался только в Лазавку, передав остальные имения в управление и аренду.

Последующие годы, вплоть до возвращения к активной политической жизни в 1904 г., Муромцев регулярно приезжает в родное ему имение, проводит здесь летние месяцы вместе с семьей, занимается ведением хозяйства. Но судьбе было угодно распорядиться так, что Муромцеву, подобно многим его соратникам по либеральному движению последней трети XIX в., не суждено было закончить

свои дни в деревне, вспоминая на досуге либеральные мечты юности.

Звездным часом Муромцева стала вторая половина первого десятилетия XX в. С общественным подъемом в России началась и новая страница его политической биографии. Именно тогда он вписал свое имя в политическую историю России как председатель ее первого парламента, выдающийся деятель либерального движения.

Однако возвращение Муромцева в большую политику одновременно означало и ослабевание, а потом и полное прекращение личных контактов с тем местом, где прошли его детство и во многом юность, где он скрывался от соблазнов света для научной работы. Последний раз он непосредственно занимался ведением хозяйственных дел в 1901-1903 гг., когда после смерти матери, к которой он всю жизнь испытывал чувство нежной привязанности и даже после женитьбы постоянно жил с ней в одном доме, он уехал в ставшую родной Лазавку. В это время из переписки Муромцева исчезает какая бы то ни была общественно-политическая тематика. Она целиком посвящена хозяйственным заботам, планам летнего отдыха и маленьким семейным новостям. Его коллеги по университету, общественной деятельности отмечали, что в первые годы века для Муромцева было характерно крайне угнетенное настроение.

Последующие же годы не оставили Муромцеву времени для поездок на малую родину. Земские съезды, кафедра председателя Первой Государственной думы, Выборг, камера № 83 заключенного Таганской тюрьмы, внезапная смерть в октябре 1910 г. – таковы узловые вехи его биографии в 1904-1910 гг.

Орловская земля почтила его память и после смерти, когда, в отличие от Санкт-Петербургской и ряда других городских дум, отказавшихся почтить память Муромцева вставанием, Орловская Городская дума сделала это единогласно, а в Борисоглебском (ныне восстановленном) соборе была отслужена панихида, было также принято решение о начале подписки на сооружение в память о Муромцеве в Орле просветительного учреждения, чему помешали последующие события отечественной истории. В местной газете прокадетской ориентации был опубликован некролог. Вообще же в рамках намеченной его соратниками по либеральному движению программы по увековечиванию памяти Муромцева удалось поставить на могиле памятник и издать книгу «Венок на могилу С.А. Муромцева». Остались невыполненными такие идеи, как издание общедоступной брошюры о нем, создание просветительного учреждения, учреждение стипендии и премии его имени. Думается, что



это не поздно сделать и сегодня. Особенно сейчас, когда мы отмечаем сто шестидесятилетний юбилей Муромцева.

Подводя итог очень краткого описания связи Муромцева с его малой родиной – Орловщиной, можно сказать, что годы, проведенные в родительском имении Лазавка стали определяющими для его последующего жизненного пути. Выросший в среде служилого дворянства, сохранившего в его роду лучшие черты этого сословия, традицию государственного служения, юный Муромцев прошел традиционный путь как в области образования, так и по части семейного воспитания. Можно говорить о том, что имения Муромцевых, расположенные на территории нынешней Орловской области, были теми уникальными гнездами, где сохранялся дух подлинно высокой дворянской культуры, в сочетании с непреходящими общечеловеческими либеральными ценностями, давший России уникальную плеяду либеральных политиков.

Его жизнь – это история научной, педагогической и общественно-политической деятельности яркого представителя русского либерализма, ставшего отцом принципов парламентаризма в России, неутомимого поборника торжества законности и правопорядка в стране, постоянно боровшегося за ее реформирование на основе свободы и политического равенства всех ее граждан. Анализ его общественно-политической деятельности в различные периоды жизни позволяет сделать вывод о том, что идеалом дальнейшего политического развития России для Муромцева выступала совместная деятельность образованной и прогрессивно настроенной части общества и монарха на основе соблюдения законов и прав граждан. Однако идеи мирного развития России, верховенства права в решении социальных конфликтов, верность которым он сохранял всю жизнь, оказались в то время не востребованными российским обществом.

Страна и эпоха накладывают на процесс становления каждого человека свой отпечаток и, как правило, составляют неповторимую индивидуальную фигуру из элементов типичных, характерных для определенной эпохи. Жизненный опыт, в широком смысле этого слова, с включением в него усвоенных или отвергнутых семейных традиций, сословных и религиозных обычаев, предрассудков и т.п. предполагает, с одной стороны, разделение людей на различные социальные группы, а, с другой стороны, существование внутри этих социальных групп некоторой общности мировоззрения, глубокую индивидуальность которому придает нетипичный, сугубо индивидуальный опыт каждой конкретной личности. Нестандартных для

России элементов жизненного опыта в судьбе Муромцева было предостаточно.

Неудачи российского либерализма начала XX в. показали, что предлагаемые им рецепты общественных преобразований неэффективны в условиях кризисных периодов в развитии общества, что тем не менее не отменяет значимости изучения и учета результатов их теоретического поиска для понимания общественно-политических процессов. Главные ошибки здесь лежат в русле безоглядного отрицания любого опыта прошлого либо отказа от него по неким морально-этическим основаниям, связанным, как правило, с обвинениями либералов в гибели России.

Другая опасность подстерегает в случае некритического переноса наработок той эпохи на иные по условиям и времени реализации сценарии общественного развития. Вряд ли следует рассматривать усилия либеральных юристов начала XX в. как панацею от всех бед и болезней, поразивших социальный организм России той эпохи. Уместным представляются слова В.С. Соловьева, который, оценивая возможности права как инструмента реформ, писал: «Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад». Но именно этой сверхзадаче и была посвящена вся жизнь и деятельность Сергея Андреевича Муромцева.

Пусть его труды с высоты нашего дня выглядят в чем-то наивными, в чем-то недоработанными, но главное в них – стремление избавить общество от трагедии резких структурных перемен, заключающих в себе, что и подтвердил век XX, угрозу потери национальной самобытности, что остается значимым и в наши дни. Буквально каждая страница, вышедшая из-под его пера, проникнута стремлением служения своей стране, стремлением дать ей возможность идти по общей дороге современной цивилизации, не теряя, а подчеркивая и развивая национальную самобытность.

**Михаил Александрович Стахович:  
«Бороться можно с правительством,  
а не с государством...»**

«Он был очень талантлив... Из него мог бы выйти крупный политик, но он за этим не гнался. Беспечный, жизнерадостный, он не искал популярности... Этот даровитейший человек так и прошел через жизнь, не выявив себя. Это часто бывало с такими, как он, талантливыми, но не целеустремленными русскими людьми», – так написала о Михаиле Стаховиче в своих мемуарах известная деятельница дореволюционной либеральной оппозиции Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс.

Вторит Тырковой в своих эмигрантских воспоминаниях и депутат II-IV Дум Василий Алексеевич Маклаков: «Перед ним (Стаховичем. – А.К.) была блестящая будущность, но карьера его не прельщала... Его разносторонность, жажда жизни во всех проявлениях (жизнь есть радость – говаривал он), избалованность (баловала его и судьба, и природа), вечные страстные увлечения и людьми, и вопросами в глазах поверхностных наблюдателей накладывали на него печать легкомыслия».

Слова Тырковой и Маклакова, при всей их человеческой точности, сегодня представляются уже не вполне исторически справедливыми. О «нереализованности» Стаховича можно, конечно, судить в чисто житейском смысле: он умер сравнительно нестарым, в 62 года (для сравнения: Маклаков и Тыркова дожили, соответственно, до 88 лет и 93 лет!). Если же говорить о политике, то тогда к «неудачникам» следует отнести все поколение первых российских парламентариев... Со временем, мне думается, верх возьмет принципиально иная интерпретация жизни и деятельности М.А. Стаховича как одного из самых цельных политиков и мыслителей своей эпохи. Другое дело, что «время Стаховича», время открытой и нравственной политики в России еще не наступило. Когда оно все же наступит, парламентский опыт столетней давности депутата Михаила Стаховича станет, надо надеяться, предметом самого внимательного исследования.

В биографии Михаила Александровича Стаховича (1861-1923) случилось немало ярких событий, но были такие, которые, как он сам рассказал в своих эмигрантских мемуарах, на всю жизнь сформировали его взгляды и принципы. ...В тот год, когда умер Достоевский и был убит Александр II (1881), двадцатилетний Михаил Ста-

хович учился в 11-м классе Императорского училища правоведения в Петербурге. О смерти писателя на утренней лекции рассказал известный юрист Анатолий Федорович Кони, который затем прочел импровизированную лекцию о «Преступлении и наказании» Достоевского. Впоследствии Стахович много общался с Кони и даже заседал вместе с ним в Государственном совете, но ту растянувшуюся не на один час лекцию он навсегда запомнил. Метафизика преступления и наказания в России – вот что захватило в рассуждениях мэтра юриспруденции двадцатилетнего студента, который позднее, по свидетельству многих современников, сам поднял профессиональное ремесло правоведа до высот политического пророчества... Через два дня юный Стахович нес венок от Училища на похороны Достоевского.

...А 1 марта 1881 г. Михаилу Стаховичу чудесным образом удалось пробраться в Зимний дворец, где он, поплутав немного (позднее он, камергер двора, станет легко ориентироваться в царских резиденциях), оказался в «фонаре» – спальне Государя Императора, который, смертельно раненный бомбой террористов, в тот момент уже, исповедовавшись, отходил. Тогда в память юного Стаховича прочно впечаталось беспомощное выражение лица наследника... В конце жизни, выброшенный революцией из России, Стахович напишет об Александре III: «Теперь, стариком и удалившись от деятельности, но обдумывая все то, что я так близко знал, я прихожу к заключению, что фактическим виновником теперешнего ужаса, исходной его причиной является честнейший, чистейший и до самоубийства любивший Россию, может быть, самый русский из царей после Петра Великого – Александр III... Это был добрый и чистый человек..., на службе и в обиходе всегда прямой, он, словом, мог бы громко и всенародно исповедоваться на Красной площади... Это был лучший и честнейший, нет, даже чистейший человек из 160 миллионов своих подданных. Но это был вреднейший царь, погубивший династию Романовых...»

Эти слова Стаховича ясно демонстрируют всю ограниченность досужих рассуждений о «либеральных славянофилах» (к которым, несомненно, принадлежал Стахович) как о политиках, приверженных идее лишь личного нравственного совершенствования в противовес совершенствованию политических институтов. Для Стаховича принципиальна не просто *человеческая*, а еще и *политическая нравственность* как способ адекватной реакции политика на общественные обстоятельства. В этом смысле *политическая безнравственность* Александра III не могла быть компенсирована никакими личными достоинствами. И, наоборот, при всей своей

неряшливости в личной жизни, его отец Александр II в звездные часы своего реформаторства представлял собой образец высокой политической нравственности.

...Через несколько дней после убийства Александра II студент Михаил Стахович попал на публичную лекцию философа Владимира Сергеевича Соловьева в огромном зале Санкт-Петербургского «Кредитного общества». «Теперь, через 40 лет, я уже не припомню ее содержания, – написал в эмиграции Стахович. – Он говорил о переживании общественного духа за этот кошмарный месяц; об общем негодовании и возмущении перед отвратительным царевубийством; о подробностях, выясненных на суде; наконец, об ужасе этого ожидания пятиголовой казни. Не только красноречива и благородна была его речь, но она звучала какой-то строгостью и восторгом пророка, когда он доказывал, что казнь не искупит преступления, потому что греха нельзя загладить наказанием, а превзойти его можно только милосердием и жалостью; чтобы действительно стать выше преступников, надо... помиловать». Стахович запомнил тогда не столько конкретные слова Соловьева, сколько выражение лица оратора, общий вид переполненного зала и собственные переживания: «Мы были объединены все в это время и негодованием к царевубийцам, и горем о погибшем, всеми любимом Царе. Но Соловьев заразил нас, проник до самой глубины души нашей, заставил почувствовать, что есть правда сильнее всякого зла, выше всякого горя. Что и отдельный человек, и совокупность толпы, и целый народ могут к ней приобщиться и по ней решить...»

С Владимиром Соловьевым Стахович позднее сошелся довольно близко, неоднократно лично выражал восхищение его сочинениями (особенно «Три разговора»), но никогда тот не производил на него столь сильного впечатления, как в тот вечер, в зале «Кредитного общества»: «Много я потом переживал сенсационных событий и сильных впечатлений, но никогда меня так не потрясала публичная речь, как эта...» Пройдет четверть века, и депутат Государственной думы Стахович будет тщетно призывать политически разделенную и тонущую в крови Россию к взаимному всепрощению...

В 1882 г. Михаил Стахович окончил Училище правоведения. Это был талантливый, но достаточно легко живущий юноша из богатой помещичьей семьи, смутно грезивший о будущем общественном призвании. «В наказание за сделанные в Правоведении две или три тысячи долгу, – вспоминал он, – отец приказал мне поступить на казенную службу, а не разрешил поселиться в Пальне (родовом имении Стаховичей под Ельцом. – А.К.). Я поехал в Ковно,

где еще были дореформенные суды, и за 11 месяцев перебивал секретарем прокурора суда П.Н. Огарева, и.о. судебного следователя, потом и.о. товарища прокурора... Но в ноябре 1883 года отец меня простил и разрешил осуществление моей мечты – не служить, а быть общественным деятелем... Жить на людях и для людей». Со стороны отца было только одно условие: работать только «по выборам», то есть быть деятелем *избранным*, а не назначенным.

Отцовская педагогика, наряду с накапливаемым профессиональным опытом, а главное, постоянное самообразование давали свои плоды. В 1883-1892 гг. Михаил Стахович – елецкий уездный и орловский губернский земский гласный; в 1892 г. он стал елецким уездным предводителем дворянства, а в 1895 г., всего в 34 года, был избран орловским губернным предводителем.

На рубеже веков окончательно сформировались и общественно-политические взгляды Стаховича. Идеальным политическим порядком было для него время реформ Александра II. И главное здесь – не личные качества царя-Освободителя, а особый характер взаимоотношений власти и общества. «Правительство критиковали, но ему верили и, вечно споря, старались сговориться и помогать. Понимали инстинктивно, что бороться можно с правительством, а не с государством, которое должно охранять и которое не может обойтись без первого...» Но этот «общественный инстинкт» существовал не сам по себе, а подпитывался, в свою очередь, демонстрацией доверия власти к обществу. К несчастью для России, это состояние взаимной поддержки было утрачено в ходе последних двух царствований: «Ненависть к правительству распространилась на самое понятие государственной власти. Оппозиция была уже не тактическим приемом, а казалась самодовлеющей политической целью... обессилить их, свалить, – хуже не бывает, мол... Умные предчувствовали, что может быть еще гораздо хуже; но сдерживать раздражение перед постоянным в течение 35 лет, систематичным и всесторонним преследованием всякого прогресса, перед постоянно демонстрируемым пренебрежением к общественному мнению, нуждам и желанию масс стало невозможным. Борьба перешла уже в войну и приобрела стихийный характер». При этом главная вина за углубляющийся общественный раскол лежала на правительстве: «Невозможность в будущем бороться со стихийным движением, все нараставшим в народе, создавало правительство». Подобная логика политического анализа – «фирменный» стиль либерала-государственника Стаховича: будучи сам представителем национальной элиты, он основную ответственность за русские

неурядицы всегда возлагал на верхи общества, на «своих», а не на народ.

Основная тема политических размышлений Стаховича – вопрос о принципах и методах «правильного правления». Политическая нравственность власти состоит в умении содействовать развитию системы общественного самоуправления, ибо без самоуправления возможны только два состояния – полицейщина и анархия. Последние два российских императора, в силу своей «политической безнравственности», явно тяготели к полицейщине и, утешаясь иллюзией временного упорядочивания, ввергли в итоге страну в пучину анархии. «Управлять массами можно, только организовав их и доведя организацию постепенно до центра... Систематически в течение 35 лет правительство не разрешало и прямо разрушало все попытки общественных организаций, все равно, в какой бы ни было области: не только в политической, но хозяйственной, экономической, социальной, художественной, даже научной, даже религиозной... А путь от народа, общества к всемогущей власти не был постепенным, организованным, а иногда совсем пустым, но чаще полным с одной стороны подозрительностью, с другой – предубеждением, делающим сотрудничество страны и власти невозможным. Неорганизованная масса в 180 миллионов, как и всякая масса впрочем, может подчиняться только двум выражениям власти: или полиции, или анархии. Все промежуточное уже нуждается в организованности. 3/16 марта 1917 года с отречением Николая II рухнула полиция тогдашней России. *Tertium non datum* (третьего не дано. – лат.)».

Однако заключительный акт исторической драмы России начался задолго до отречения последнего царя – с убийства Александра II и с отказа Александра III подписать подготовленный отцом Манифест о введении выборного Государственного совета в качестве совещательного органа. «Это была умная и осторожная попытка повести Россию эволюционным путем к неизбежному в наше время представительному правлению, – говорил Стахович о не реализовавшихся планах Александра II. – Конечно, этот новый порядок привел бы постепенно до ограничения самодержавия, к конституции. Но именно в постепенности и заключался бы спасительный для народов путь неизбежной эволюции, а не отвратительный, при ее отсутствии, путь революции».

Пришедшая к власти после гибели царя-Освободителя группировка во главе с К.П. Победоносцевым, графом Д.А. Толстым, князем В.П. Мещерским и др. сформулировала и сумела привить новому царю «совершенно вымышленное обвинение всей России в

грехе цареубийства»: «Ее объявили и виноватой, и больной, стали лечить строгим режимом реакции и стали пичкать все время такими сильнодействующими лекарствами, в которых она совсем не нуждалась, но от которых ее лихорадило все сильнее и сильнее... Этот эффект ненужного лечения выдавали за безошибочный диагноз опытных и любящих врачей и все усиливали дозы...» Безнравственность враждебного России курса правящей верхушки вынудила государственника Стаховича перейти в ряды либеральной оппозиции.

Всероссийскую известность губернский дворянский предводитель Стахович получил в 1901 г. в связи с прочитанным им 24 сентября на Миссионерском съезде в Орле докладом о свободе совести, где он открыто высказал свое неприятие распространенной практики религиозного принуждения и дискриминации иноверцев. Стахович в полемической форме постарался защитить идею, что никакое насилие не способно вызвать любовь к Богу и лишь полная свобода вероисповедания может благотворно содействовать популяризации и распространению православия. «Меня спросят, – говорил Стахович, – чего же вы хотите? Разрешения не только безнаказанного отпадения от православия, но и права безнаказанного исповедания своей веры, то есть соращения других? Это подразумевается под свободой совести? Особенно уверенно среди вас, миссионеров, я отвечу: да, только это и называется свободой совести... Запретной пусть будет не вера, а дела; не чувства, а поступки, ущербы, изуверство – все то, что уголовный закон карает...»

Речь Стаховича, поначалу опубликованная в «Орловском вестнике», была затем перепечатана в столичных «Санкт-Петербургских ведомостях», «Московском обозрении», «Миссионерском обозрении» и т.д. Живший тогда во Флоренции известный театральный деятель князь Сергей Михайлович Волконский заметил сначала ссылки на речь Стаховича в иностранной прессе, а затем уже начал собирать все связанные с ней материалы. В своих мемуарах Волконский вспоминал: «Его речь прокатилась из конца в конец земли русской; она произвела впечатление бомбы... Буря, поднявшаяся вокруг этой речи, длилась более двух месяцев и, к сожалению, утихла, прекращенная цензурными распоряжениями».

В развернувшейся тогда в России дискуссии приняли участие такие выдающиеся деятели, как Л.Н. Толстой, Д.С. Мережковский, Н.Ф. Федоров, Н.А. Бердяев. Активно выступил против Стаховича протоиерей Иоанн Кронштадтский: «В наше лукавое время появились хулители святой церкви, как граф Толстой, а в недавнее время некто Стахович, которые дерзнули явно поносить учение нашей



святой веры и нашей церкви, требуя свободного перехода из нашей веры и церкви в какие угодно веры... Нет, невозможно предоставить человека собственной свободе совести, потому что он существо падшее и растленное...»

Речь Стаховича использовал против него и небезызвестный С.А. Нилус (впоследствии издатель «Протоколов Сионских мудрецов») – орловский помещик, выпускник юридического факультета Московского университета, ярый черносотенец, давно выбравший либерала Стаховича мишенью для своих нападок. Еще в 1899 г. Нилус публично обвинил Стаховича, своего соседа по имению, в «безверии»; неоднократно выступал он и против всех либеральных земцев, «бессознательно играющих в руку единственно искреннему космополиту – еврею и родному его брату, армянину». Критикуя речь Стаховича на миссионерском съезде, Нилус на страницах «Московских ведомостей» назвал его «русским Дантоном или Робеспьером».

Свое сложное отношение к речи Стаховича высказал и философ В.В. Розанов: «Речь г. Стаховича, может быть независимо от прямого намерения оратора, забрасывает семена нравственной подозрительности на деятелей миссии. "Вы притеснители, а не христиане", – говорит смысл его слов. Речь его была только по виду предложением, а на самом деле она была судом и осуждением». Впрочем, Розанов не мог не признать, что в словах Стаховича «есть своя правда», и выразил уверенность, что «лучшие пожелания г. Стаховича исполнятся: но исполнятся в созидательных целях, в целях религиозного строительства».

В начале века Стахович становится активным деятелем общероссийского либерального движения, непременным участником земских совещаний и съездов. В 1902 г. он, носящий как губернский предводитель высокий чин камергера императорского двора (с 1899 г.), получил за свою оппозиционную активность на этом поприще «высочайший выговор». Вместе с тем в намечающемся размежевании русского либерализма на радикальное и умеренное крылья Стахович стал одним из лидеров «умеренных» – вместе с Д.Н. Шиповым, графом П.А. Гейденом, князем Н.С. Волконским. Он отрицательно относился к радикализму эмигрантского журнала «Освобождение» во главе с П.Б. Струве, к излишней, по его мнению, политизации либерального кружка «Беседа», единственно возможную программу которого определял как «борьбу с бюрократизмом во имя поднятия принципа самодержавия».

В 1904 г. в журнале «Право» была напечатана сильная статья Стаховича (ранее запрещенная цензурой в «Орловском вестнике»)

по поводу нанесения полицией Орла смертельного увечья ни в чем не повинному мусульманину-сарту, направлявшемуся в Мекку. За эту статью номер «Права» был конфискован, а статья вышла в заграничном «Освобождении». Ответом на нее стала публикация в официозном «Гражданине» князя В.П. Мещерского – одного из самых влиятельных идеологов России. Еще при жизни Александра II князь публично объявил своей целью «поставить точку реформам», после чего наследник-цесаревич Александр Александрович был вынужден разорвать с ним отношения. Однако после воцарения Александра III эти отношения были не только восстановлены, но и еще более укрепились. Мещерский сохранил позиции и при Николае II: именно его влиянию приписывалось назначение министром внутренних дел реакционера В.К. Плеве после убийства в мае 1902 г. его предшественника на этом посту Д.С. Сипягина.

В своей статье в «Гражданине» князь Мещерский обвинил Стаховича в намерении «бросить обвинительную тень на административную власть» и в «сотрудничестве с революцией». Он нашел в статье Стаховича «оскорбление патриотизма, почти равное писанию сочувственных телеграмм японскому правительству»: в условиях войны с Японией это обвинение выглядело особенно сильным. Вопрос стоял принципиально, и группа молодых правоведов-либералов решила нанести контрудар по князю Мещерскому, подав на него в суд за клевету. В заседании Петербургского окружного суда 22 ноября 1904 г. интересы Стаховича (который был в то время на маньчжурском участке военных действий во главе санитарного отряда от орловского дворянства) защищали мэтр русской адвокатуры Федор Никифорович Плевако и ее восходящая звезда Василий Алексеевич Маклаков, товарищ Стаховича по либеральным кружкам и совместным «паломничествам» в Ясную Поляну к Льву Толстому.

В своем выступлении Плевако не стал делать акцент на юридической стороне дела: он произнес яркую политическую речь, ставшую обвинением князя Мещерского не столько в клевете на Стаховича, сколько в «извращенном понимании патриотизма». Напомнив суду, что Мещерский упрекнул Стаховича в «сочувствии японцам», Плевако заявил: «За это отрицание в Стаховиче права быть русским и любить более всего на свете свое князю Мещерскому отомстила судьба, и как отомстила! Многие русские люди пошли на японскую войну добровольцами. И что же: имени патриота князя Владимира Петровича Мещерского мы не находим там... Но среди святых граждан и гражданок страны внесено имя Михаила Стаховича...» Плевако так завершил свою блестящую речь: «Нет, сколь-

ко бы ни исписал бумаги князь, не краснеющий и бесстрастный, он не докажет честно мыслящим русским людям, что нежелательны Стаховичи и нужны только Мещерские. Довольно с нас и одного Мещерского, дай Бог побольше таких людей, как Стахович! Тогда мы встретим их и на ратном поле, умирающими за родину, и в лазарете, утоляющими раны и боли мучеников, и в мужах совета, говорящими смелую правду».

Речь Плевако в поддержку Стаховича стала одной из вершин его адвокатской карьеры и вошла во многие хрестоматии по ораторскому искусству. Судя по всему, она сыграла определенную роль и в жизни самого Плевако: увлекшись оппозиционной политикой, он вступил вскоре в партию октябристов, от которой был избран по Москве в III Государственную думу. Парламентарием, однако, он был очень недолго, ибо в декабре 1908 г. скоропостижно скончался.

В результате нашумевшего процесса «Стахович против Мещерского» либеральная общественность получила полное удовлетворение: влиятельный реакционер и личный конфидент императора был осужден за клевету к двухнедельному аресту на гауптвахте. Правда, через некоторое время, после того как высшая власть несколько опомнилась, более высокая инстанция оправдала князя.

Всероссийская популярность общественного деятеля Стаховича была в первые годы нового века настолько велика, что в революционном 1905 г. в верхах обсуждался вопрос о его привлечении на крупную правительственную должность в «кабинете общественного доверия». В числе других умеренных либералов (Д.Н. Шипова, А.И. Гучкова, князя Е.Н. Трубецкого, князя С.Д. Урусова) с ним вел переговоры премьер-министр граф С.Ю. Витте, который потом вспоминал: «Стаховича я ранее порядочно знал. Это очень образованный человек, в полном смысле *gentilhomme* (благородный человек. – *фр.*), весьма талантливый, прекрасного сердца и души, но человек увлекающийся и легкомысленный русской легкомысленностью, порядочный жуир. Во всяком случае, это во всех отношениях чистый человек...» Судя по всему, Витте приглашал Стаховича больше в качестве надежного посредника для контактов с другими, более интересовавшими его фигурами, нежели для предложения солидного поста самому Стаховичу. Последний, скорее всего, и сам понимал это: будучи уверенным в своей победе на уже объявленных выборах в I Думу, Стахович отклонил предложение войти в правительство.

Активную роль сыграл Стахович на первом Всероссийском съезде партии «Союз 17 октября», состоявшемся в театральном

зале московского «Охотничьего клуба» 8-12 февраля 1906 г. В первый день съезда лидер октябристов Гучков произнес характерные слова: «В наших рядах мы имеем таких видных общественных деятелей, как Д.Н. Шипов, М.А. Стахович (*бурные аплодисменты*). Д.Н. Шипов одним из первых начал борьбу с правительством за право участия народа в законодательной деятельности; М.А. Стахович первым возвысил голос за свободу совести. А это было еще в то время, когда и говорить о таких предметах, и аплодировать – так, как вы сейчас аплодируете, – было не так удобно и безопасно. Вы помните, какими репрессиями встречало правительство самые робкие попытки протеста против своего неограниченного самовластия...»

9 февраля 1906 г. Стахович сделал на съезде доклад от имени ЦК партии по вопросу об отношении «Союза 17 октября» к внутренней политике правительства, который произвел сильнейшее впечатление на слушателей. На следующее утро в газетном отчете было сказано: «М.А. Стахович вместо обычного сухого доклада всех российских съездов и заседаний произносит горячую проникновенную речь, электризирующую все собрание». А один из выступивших после Стаховича делегатов сказал: «Мы слышали из уст М.А. Стаховича не речь оратора, но апостольскую проповедь».

Доклад Стаховича был построен на доказательстве внешне парадоксальной, но глубоко выношенной им идеи: существующий в России внеправовой «приказный строй» разрушает подлинную государственность. «Унижения и позор на Дальнем Востоке, революционные движения и аграрные беспорядки внутри России, разоряющие ее благосостояние забастовки, – утверждал Стахович, – все это результаты преступной деятельности отжившего приказного строя. Во всем этом нельзя не видеть ослабления государственной власти». Вопреки как реакционерам-охранителям, так и революционерам-разрушителям, Стахович защищал тезис о необходимости правового укрепления государственной власти: «Я говорю не о той власти, которая без суда и следствия высылает, арестует и гноит в тюрьме тысячи и десятки тысяч людей и возмущает и душит всю страну своими насилиями и произволом, вызывая общее раздражение и негодование... Нет! Я говорю о той государственной власти, которая составляет оплот государству – этому огромному корпусу, соединяющему в себе столько противоречивых требований и стремлений. Я говорю о той твердой власти, которая не только не дает опрокинуться государственному судну, но и предотвращает его излишнюю качку. И отсутствию этой власти мы во многом обязаны проявлениями всевозможных бесчинств, насилий и беззакон-

ний, имеющих место за последнее время. Весь пережитый нами период революции есть прямое последствие ослабления в России авторитета государственной власти».

Ослабляет государство, по мнению Стаховича, и затягивание правительством созыва народного представительства: «Правительство обязано было подчиниться воле Государя о скорейшем созыве Думы. Плохая, несовершенная Дума, но должна была быть созвана немедленно». Стахович отменил отговорки членов кабинета министров, что дарованные царем свободы не могут быть осуществлены до тех пор, пока не прекратится революционное движение, – напротив, неправовые репрессии сами провоцируют смуту: «Мы понимаем, что вооруженное восстание нельзя подавить увещаниями и лекциями, что его можно подавить только вооруженной силой... Но, водворив порядок, правительство обязано тотчас же, не медля прекратить всякое насилие, к которому вынуждено было прибегнуть, нарушив тем самым священные основы гражданской и политической жизни страны. После подавления вооруженного восстания насилие со стороны правительства не находит себе никаких оправданий. А между тем мы видим, что необузданный произвол и насилия со стороны правительства продолжают повсеместно, где не было даже никакого вооруженного восстания. Мы видим, что к революционерам причисляются миллионы русских граждан, что правительство хочет осилить всю Россию, недовольную его незаконной деятельностью и протестующую против произвола и насилий с его стороны. И, видя все это, мы должны сказать правительству: после Манифеста 17-го октября вы не смеете делать этого! Вы не смеете посягать на наши свободы и стараться снова водворить тот порядок, который был главной причиной всех наших зол и несчастий!»

Особенно поразила присутствующих концовка речи Стаховича: «Правительство само расшатывает и как бы хочет опрокинуть весь государственный строй. Оно само готовит себе гибель. Но за этой гибелью может последовать гибель династии и гибель всей России!» В газетном отчете потом говорилось: «Гром аплодисментов прерывает оратора, и М.А. Стахович долго стоит с опущенной головой, ожидая восстановления тишины в зале». А после того, как Стаховичем был зачитан проект предлагаемой октябристским ЦК резолюции, отчет фиксирует: «После долго не смолкавших аплодисментов записалось около 30 делегатов, желающих говорить по существу доклада».

Весной 1906 г. Стахович был избран депутатом I Государственной думы от землевладельцев Орловской губернии. Эта Дума,

прозванная современниками «Думой народного гнева», отличалась практическим отсутствием представителей проправительственного лагеря. Оппозиционер и либерал Стахович парадоксальным образом оказался в ней на самом правом фланге в составе немногочисленной группы «умеренных». Впоследствии Маклаков, ставший одним из самых проницательных аналитиков истории первой Думы, написал: «На правых скамьях, на которых мы видели позднее Пуришкевича, Маркова, Замысловского, сидели такие заслуженные деятели "Освободительного движения", как гр. Гейден или Стахович. Они сами не изменились ни в чем, но очутились во главе оппозиции справа. Эта правая оппозиция в I Думе выражала подлинное либеральное направление; именно она могла бы безболезненно укрепить в России конституционный порядок».

Маклаков, как представляется, достаточно точно описал самоощущение Михаила Стаховича в I Думе: «"Стиль 1-й Думы", ее нетерпеливость, нетерпимость, несправедливость к противникам, грубость, вытекавшая из сознания безнаказанности – словом, все то, что многих пленяло как "революционная атмосфера", оскорбляло не только его политическое понимание, но и эстетическое чувство». Атмосфере этой он не поддался и потому стал с нею бороться. У него не было кропотливой настойчивости, как у Гейдена; он был человеком порывов, больших парламентских дней, а не повседневной работы. Но в защите либеральных идей против их искажения слева он мог подниматься до вдохновения. Напоминавший бородой и лицом Микельанджеловского Моисея, когда он говорил, он не думал о красноречии; речь его не была свободна, он подыскивал подходящие слова, но увлекал трепетом страсти».

Действительно, с одной стороны, Стахович не мог не понимать всю заведомую тщетность усилий их малочисленной группы противостоять общему течению. Но, с другой стороны, свою борьбу с думскими радикалами он воспринимал как нравственный долг. Эта борьба виделась ему продолжением дискуссий на земских съездах: ведь он и там в последние годы все чаще оказывался в меньшинстве. Здесь, в первой Думе, в составе самой влиятельной кадетской фракции было много его старых соратников – их, как он считал, еще можно было в чем-то переубедить. Что ему явно претило, так это то, что старые товарищи-земцы, элита страны, пошли, как он считал, на поводу у радикалов.

В историю I Думы Стахович вошел как основной оратор «умеренных» по таким ключевым вопросам, как отношение к политической амнистии и террору. Еще в первый день работы Думы, 27 апреля 1906 г., тема амнистии всех осужденных за антиправитель-

ственные выступления выдвинулась на первый план. Современники отметили то эмоциональное значение, которое имел проезд депутатов (принятых сначала в Зимнем дворце императором) на кораблях по Неве к Таврическому дворцу. Тогда депутаты проплыли мимо печально известных «Крестов», и из всех распахнутых окон узники приветствовали их криками «Амнистия!». Подобная обстановка царила и во всем городе. Член кадетского ЦК А.А. Кизеветтер вспоминал: «Я ходил по улицам и видел густые шпалеры народа на всем пути следования депутатов. Громовые приветственные крики оглашали воздух, и все чаще выделялись из этих криков возгласы: "Амнистия, амнистия!"»

Уже при открытии Думы избранный председателем С.А. Муромцев, еще до своей официальной речи, предоставил слово лидеру кадетской фракции И.И. Петрункевичу, который с места заявил: «Долг нашей совести заставляет нас употребить все усилия, которые дает нам наше положение, чтобы свобода, которую покупает себе Россия, не стоила больше никаких жертв! *(продолжительные аплодисменты)*». Многие исследователи пытались позднее проникнуть в глубинные мотивы этой речи «кадетского патриарха» (на первый взгляд, спонтанной, но на самом деле хорошо спланированной), положившей начало принципиальнейшей думской дискуссии, в которой одну из главных ролей суждено было сыграть орловскому депутату Стаховичу.

Влиятельный кадетский депутат Ф.И. Родичев в своих мемуарах так объяснил первое думское выступление Петрункевича: «То было нарушение всех парламентских обычаев... Но на бурю было пролито масло. Депутаты успокоились, взрыва не последовало...» В самом деле, положение в I Думе добившейся большого успеха на выборах конституционно-демократической партии было очень сложным. В условиях по сути продолжающейся в стране революции кадетам необходимо было, с одной стороны, удержать свой принципиальный конституционализм, сохраняя перспективу диалога со ставшим теперь конституционным монархом, а с другой стороны, не отдать политическую инициативу в руки своих более радикальных левых «попутчиков» из т.н. «трудовой группы». Думскую линию кадетов во многом определял тезис их партийного лидера П.Н. Миллюкова (разделяемый лидерами фракции Петрункевичем и М.М. Винавером): *«Идти соединением либеральной тактики с революционной угрозой»*.

Существуют документальные подтверждения (мемуары И.В. Гессена, например), что сама конфигурация руководства Думы была продумана кадетами таким образом, чтобы наилучшим образом

реализовать «милюковскую тактику». На пост председателя был выдвинут импозантный и рассудительный московский профессор Муромцев, а не радикал Петрункевич, несомненно заслуживший это право, но раздражавший императорский двор. В то же время вместо намеченного на пост одного из товарищей (заместителей) председателя В.Д. Набокова Думе был предложен в итоге гораздо менее влиятельный в партии Н.А. Гредескул, имевший перед Набоковым только одно «преимущество» – опыт тюрьмы и ссылки, создававший ему ореол жертвы режима среди думских «левых». Именно Гредескула, только что триумфально освобожденного из архангельской ссылки, кадетская фракция выпускала всякий раз, когда надо было «гасить» экстремистские предложения радикалов из «трудовой группы» – С.В. Аникина, И.В. Жилкина, А.Ф. Аладына, говоривших смело, но, к их досаде, не имевших опыта царских тюрем.

Именно так произошло, например, на первом же заседании Думы, когда Гредескул (вместе с другими кадетами – Г.Ф. Шершеневичем и Ф.Ф. Кокошкиным) сумел убедить «левых» отказаться от немедленного требования всеобщей амнистии и включить его в готовящийся ответный адрес Думы на тронную речь императора. Гредескул тогда долго и ярко рассказывал, как он, будучи еще совсем недавно в царских застенках, безуспешно ждал, вместе с другими заключенными, политической амнистии...

Вопрос об амнистии во весь рост встал на следующем заседании – 29 апреля. Конституционные демократы понимали, что им снова потребуются переигрывать радикалов, и Муромцев (формально вышедший из кадетской партии, но сохраняющий с ней полное взаимопонимание) предоставил право первого, самого выигрышного выступления своему единомышленнику Родичеву. Задача последнего была непростой: требовалось накрепко связать в глазах российской общественности идею политической амнистии с собственной, кадетской партией и в то же время предложить такие формулировки, которые оказались бы приемлемыми для монарха. Тонкий политик и блестящий оратор Родичев вполне с этой задачей справился: «Амнистия и помилование – это прерогативы Монарха, и наше заявление есть заявление потребности, заявление страданий всего народа, обращенное к Монарху... Пока еще есть время высказать желание амнистии, выскажемте же его в форме желания. Быть может, через несколько дней будет поздно, и оно будет выражено в форме требования...» И, фактически обращаясь уже к монарху, Родичев добавил: «Кто думает, что амнистия дает санкцию на преступление, тот заблуждается... Если Вы желаете уничтожить



ту ненависть, которая в настоящее время горит ярким пламенем с той и другой стороны – возьмите на себя почин и щедрою рукой дайте всепрощение. Это акт высшей политической мудрости... Это всепрощение да послужит залогом того, что в начавшейся работе Монарх пойдет рука об руку с народом».

Однако после этого вполне разумного и взвешенного выступления в бой ринулись радикалы-трудовики. Аникин: «Я не буду говорить о милосердии, я буду говорить о справедливости...» Аладьин: «За нами страна – и город и деревня стоят за нами и пойдут за нами. Наши братья в тюрьмах, в ссылке, на каторге могут быть уверены, что мы сами возьмем их оттуда, а если нет... *(Голоса: Довольно!)*» Жилкин: «Я мирный человек, я слабый человек, но всем сердцем, всей душой я чувствую, что, к великому ужасу, к великому огорчению, время просьб прошло, и прошло безвозвратно... Если требования не будут удовлетворены – мы, может быть, уйдем отсюда, отойдем, может быть, в сторону, но пусть тогда народ встанет лицом к лицу с теми, которые не удовлетворили наших требований...» и т.д.

Трудовики были талантливymi ораторами. Деланная рассудительность Аникина, угрозы Аладьина, кликушество Жилкина захватили аудиторию, но – главное – могли произвести впечатление на страну, внимательно следящую за событиями в Думе. Инициатива могла уйти к крайне левым – и кадеты решили ее срочно вернуть. И они снова предъявили свой «козырь» – недавнюю жертву режима Гредескула. Тот, опытный правовед и судебный оратор, виртуозно взял под свое «профессорское покровительство» самого радикального из выступивших трудовиков – Аладьина: «Хотя то заявление, которое было сделано здесь одним из предыдущих ораторов, а именно Аладьиным, встретило неудовольствие с некоторых сторон, но если его рассмотреть глубже и вдуматься объективно, то это заявление окажется вполне справедливым. В самом деле, что сказал Аладьин? Он сказал, что если те, кто теперь томится в неволе, кто страдает за дело освобождения, если они не будут освобождены в порядке справедливости или милости, то они будут освобождены самим народом. Это дело чести для русского народа... Я не знаю, может быть, депутат Аладьин облек это заявление в неправильную форму... Его заявление имело форму угрозы, вызова, а мне кажется, что наше положение по вопросу об амнистии слишком серьезно, чтобы нужно было делать вызовы и произносить угрозы *(аплодисменты)*».

И далее Гредескул выдвинул «компромиссное предложение»: «Необходимо достигнуть в этом вопросе того единогласия, о кото-

ром взывал Родичев. Если для достижения этого мы должны облечь наше обращение в форму просьбы о милости, то я ничего не имею и против этого. Мы должны только помнить, что если в форме милости русскому народу это не будет дано, то депутат Аладьин окажется прав. Народ добьется амнистии в том порядке, в каком он сам захочет...»

Кадеты, как видим, и в этот раз тактически выиграли, направив своеобразное послание общественности: мы, в отличие от трудовиков, – разумные политики, контролирующие в Думе своих нетерпеливых союзников. Сигнал был послан и власти: имейте дело с нами – иначе будете иметь дело с неуправляемыми и безответственными радикалами.

Историки I Думы из числа кадетов (Винавер, Н.Ф. Езерский и прежде всего сам Милюков) потом не раз писали о том, что формы тактического взаимодействия кадетов и трудовиков согласовывались на предварительных совместных совещаниях лидеров, что роли были заранее распределены, что существовало своего рода «разделение труда». Милюкову, по-видимому, казалось тогда, что успешно реализуется его собственная формула, которую он любил повторять: «Мы играем на сцене, а шум за сценой создают другие...» Похоже, однако, что со временем этот симбиоз конституционалистов и радикалов зашел значительно глубже, нежели того поначалу хотелось кадетам. Об этом впоследствии и написал в эмиграции Маклаков, который пришел к выводу, что тактический альянс, на первых порах казавшийся кадетам выгодным, постепенно вылился в стратегию, где тон стали задавать уже радикалы. Окончательное складывание этого теперь уже «стратегического союза» Маклаков отнес к тем двум заседаниям Думы, где с принципиальными поправками к проекту ответного адреса императору выступил депутат-октябрист Михаил Александрович Стахович.

Он включился в обсуждение проекта на заседании 3 мая 1906 г. Его, профессионального правоведа, беспокоила сама нервическая атмосфера, в которой проходила дискуссия: «Часто случается, бывают даже целые периоды государственной жизни, когда не сущность вопроса царит и решает дело в палатах, а возбуждение политических страстей. Самое присутствие такого возбуждения является даже опасностью. Оно опасно, как оружие в руках рассерженного...» Отталкиваясь от метафоры кадетского депутата Е.Н. Щепкина, который сравнил поток свободных речей в Думе с «вешними водами», Стахович иронически заметил: «Пользуясь его собственным сравнением, добавляю, что вся эта вода не рабочая; ее не надо пускать на колеса мельницы. Умный мельник открыл бы за-

творы и терпеливо бы ждал: пусть себе сольет...» Вопреки радикальным призывам о необходимости немедленного подчинения министров народному представительству, Стахович назвал такую претензию «преждевременной»: «Мы только свяжем руки Государю, если, как лояльный конституционный Монарх, он будет следовать нашим голосованиям и менять министерства после каждого провала... Необходимо, сохранив ответственность министров перед Государем Императором, развить и ускорить условия осуществления права запроса и контроля со стороны Думы не только над закономерностью, но и целесообразностью действий министров» (*слышно шиканье на многих скамьях*).

4 мая дискуссия была продолжена – в этот день обсуждались в основном те положения ответного адреса, где речь шла о проблемах амнистии, смертной казни, о политических убийствах. В середине жаркой дискуссии слово опять попросил Стахович: «Я оговарюсь, что живу в такой глухой и благоразумной местности, в которой теперь, несмотря на все здесь говоримое, люди, наверное, не бросили своей обычной жизни и занятий, не перестали метать пары, сеять гречиху и просо и не ждут, затаив дыхание, будут ли женщины в Государственной Думе, останется ли Государственный Совет или нет...» Перейдя непосредственно к вопросу о политической амнистии, Стахович еще раз подтвердил, что он и его коллеги по группе «умеренных» по-прежнему горячо поддерживают призыв к освобождению всех политических заключенных. Однако, добавил он, для полного успеха этого судьбоносного акта Дума должна одновременно выступить и с резким осуждением революционного террора: «Кроме почина существует ответственность за последствия, и эта вся ответственность останется на Государе... Не мы уже, а он ответит Богу за всякого замученного в застенке, но и за всякого застреленного в переулке. Поэтому я понимаю, что он задумается и не так стремительно, как мы, движимые одним великодушием, принимает свои решения. И еще понимаю, что надо помочь ему принять этот ответ. Надо сказать ему, что прошлая вражда была ужасна таким бесправием и долгой жестокостью, что доводила людей до забвения закона, доводила совесть до забвения жалости... Цель амнистии... – это будущий мир в России. Надо непременно досказать, что в этом Государственная Дума будет своему Государю *порукой и опорой*. С прошлым бесправием должно сгнуться преступление как средство борьбы и спора. Больше никто не смеет тягаться кровью. Пусть отныне все живут, управляют и добиваются своего или общественного права не силой, а по закону. По обновленному русскому закону, в котором мы и участники, и

ревнителю, и по старому закону Божию, который прогремел 4000 лет тому назад и сказал всем людям и навсегда – Не убий!»

Маклаков позднее вспоминал: «В Первой Думе было сказано много превосходных речей. Но я не знаю другой, которая могла бы по глубине и подъему с нею сравняться... Колебания Государя, о которых говорил Стахович, не были только предположением. Он мне рассказывал после, что, когда начался в Думе разговор об амнистии, Государь получал множество телеграмм с протестами и упреками: неужели он допустит амнистию и помилует тех, кто убивал его верных слуг и помощников? Пусть эти телеграммы фабриковались в "Союзе истинно русских людей", Государь принимал их всерьез. Чтоб вопреки этим протестам Государь все-таки пошел на амнистию, нужно было сказать действительно *новое* слово, открывавшее возможность забвения, нужно было *самому* подняться над прежнюю злобою. Этим словом и могло быть моральное осуждение террора. Но на это Дума не оказалась способна. Она продолжала *войну*».

Итак, на том историческом заседании 4 мая 1906 г. Михаил Стахович, наряду с призывом к амнистии, предложил Думе добавить в ответный адрес Государю следующие слова: «Государственная Дума выражает твердую надежду, что ныне, с установлением конституционного строя, прекратятся политические убийства и другие насильственные действия, которым Дума высказывает самое решительное осуждение, считая их оскорблением нравственного чувства народа и самой идеи народного представительства. Дума заявляет, что она твердо и зорко будет стоять на страже прав народных и защитит неприкосновенность всех граждан от всякого произвола и насилия, откуда бы они ни исходили».

Предложение Стаховича было не только разумным, но и весьма умеренным – оно исходило из старой его идеи о необходимости восстановления взаимного доверия царя-реформатора и народного представительства. Однако в «Думе народного гнева» это предложение вызвало большое возбуждение. Правда, первым после Стаховича выступил депутат, назвавшийся его «союзником» – виленский епископ, барон Э.Ю. фон дер Ропп. Он поддержал тезис о необходимости учитывать сложное положение монарха, но перенес суть вопроса в религиозную плоскость, слабо воспринимаемую радикальным крылом Думы, и тем самым резко ухудшил шансы на прохождение поправки Стаховича. Политическую речь Стаховича, внешне похожую на проповедь, епископ принял за проповедь как таковую, чем намного облегчил задачу оппонентов.

Влиятельнейшая в Думе фракция конституционных демократов оказалась перед сложным выбором. Маклаков назвал его позднее «выбором между двумя возможными думскими большинствами» – *конституционным* и *революционным*. Первым из кадетов против поправки Стаховича выступил петербургский депутат, профессор А.С. Ломшаков, который однозначно заявил, что «вся ответственность за все преступления, о которых здесь было сказано, лежит всецело и полностью на правительстве». Правда, профессор не принадлежал к числу кадетских руководителей, и у фракции еще оставался выбор...

Дело решил Родичев, ставший еще с первых думских заседаний штатным спикером кадетов по вопросу об амнистии и терроре. Заявив, что вполне понимает тот «душевный порыв, который внушил Стаховичу благородные слова любви», Родичев быстро перешел к возражениям: «Но с политическим заключением этого порыва я согласиться не могу. Если бы здесь была кафедра проповедника, если бы это была церковная кафедра, то тогда, конечно, мог бы и должен был раздаваться призыв такого рода, как мы слышали здесь, но мы – законодатели, господа... Много есть дурных вещей, которые следует осуждать, но не здесь этому осуждению место. Мы осуждаем те порядки, когда людей казнят без суда... Мы должны сказать всем: если вы хотите бороться с преступлением, оно должно быть осуждено!» Затем против поправки Стаховича выступили и другие влиятельные кадеты.

Позднее Маклаков так прокомментировал этот «крах думского конституционализма»: «Всего грустнее читать речь Родичева... Из государственного установления Дума превращала себя в орудие революционной стихии. Голосование по поправке Стаховича вырыло ров между двумя большинствами. Если бы кадеты пошли со Стаховичем и Родичев повторил свою речь 29 апреля – это образовало бы "конституционное большинство". В этот день кадеты от конституционного пути отказались...» Маклаков интерпретировал «эпизод с амнистией» как стремление левого большинства Думы настоять на том, что после дарования гражданских свобод «преступники находились не в среде осужденных, а только в среде властей»: «При таком взгляде Думы на недавнее прошлое нельзя было говорить о примирении и успокоении, о забвении прошлого, которое одно могло бы амнистию мотивировать. Судьи и осужденные должны были просто поменяться местами; под флагом амнистии Государю предлагали встать на сторону Революции».

Между тем сам Стахович в тот день не собирался сдаваться и повторил попытку обосновать свою поправку: «Мне давно прихо-

дится жить, думать и говорить так несвоевременно, что приходится отстаивать против большинства не только то, что я считаю правильным, но даже и то, что я считаю разумным, и я давно знаю, как эта задача неблагодарна, я давно знаю, что она часто бесполезна. Я только думаю, что это долг всякого совестливого человека, на какую бы сторону ни собралось большинство, часто глухое из-за самодовольно сознаваемой своей силы». Стахович попытался снова обратиться к разуму депутатов, призвав думать не только о прошлом, но и о будущем России: «Мало хоронить, все сосредотачиваясь и копаясь в прошлом; надобно подумать и высказаться о будущем теперь, чтоб оно не повторяло прошлого ни с какой стороны...»

Тем не менее поправка Стаховича была отклонена думским большинством. «Дума отвергла спасательную веревку, которую Стахович ей протянул, – писал в эмиграции Маклаков. – Если бы Дума оказалась способной подняться на его тогдашнюю высоту, она бы не только получила амнистию, она оказалась бы достойной той роли, которую сыграть не сумела...»

Здесь пора сделать небольшое отступление и сказать, что, упрекая уже в эмиграции своих бывших коллег-кадетов в старых перводумских грехах, Маклаков не был до конца последовательным. Многие свои претензии к Милюкову, Родичеву и другим бывшим товарищам по партии он явно сформулировал «задним числом». А тогда, в 1906 г., его позиция была существенно иной. Так, уже после роспуска I Думы, во время дискуссии с «октябристами» 30 ноября 1906 г., Маклаков еще вполне определенно защищал перводумскую тактику кадетов: «Мы политические убийства не осудили потому, что думали, что эти осуждения скроют от глаз народа настоящую причину. Мы считаем, что это наше горе, которое только в России есть, и это горе питается условиями русской жизни... Мы думаем, что осудить политические убийства – это значит дать повод власти думать, что она права». Нетрудно заметить, что это примерно та же аргументация, с которой, например, Родичев выступал в I Думе против Стаховича.

Скорее всего, сам Стахович, опытный и мудрый политик, рассматривал свое участие в перводумской дискуссии по проекту ответного адреса лишь как эпизод в своей думской борьбе. Характерно, что он, в числе небольшой группы «умеренных» (граф Гейден, Волконский и др.), не стал голосовать против окончательного текста думского адреса, а просто вышел в тот момент из зала. Он, по видимому, считал важным тогда продемонстрировать и стране, и

монарху единодушие парламента: борьба за конституцию против революции, по его мнению, еще не была проиграна.

Стахович также прекрасно понимал, что на левые фракции I Думы большое влияние оказывается извне Таврического дворца – например, со стороны внедумских лидеров радикальных социалистических партий, мечтающих о крахе первого российского парламента. Судя по всему, Стахович питал личную неприязнь и к Милюкову (и пользовался здесь, надо сказать, полной взаимностью): он полагал, что, не будучи депутатом, Милюков из-за кулис манипулирует не только своей фракцией, но и всей Думой, считая ее лишь эпизодом на пути к созыву по-настоящему полномочного и демократического Учредительного собрания.

Известно, что Милюков любил цитировать фразу из Вергилия: «Если не смогу убедить высших, то двину Ахеронт». Под «Ахеронтом» (так в древнегреческой мифологии называлась одна из подземных рек ада) имелась в виду, разумеется, стихия революции, которой кадетские лидеры рассчитывали управлять. Рассудительный и умеренный Стахович не мог разделить этих кадетских иллюзий: одна из ярчайших его речей в I Думе была напрямую направлена против кадетской идеи «управляемого хаоса», а возможно, и лично против Милюкова, обычно сидевшего во время думских заседаний в журналистской ложе.

«Очевидцы и обсерватории способны описывать ливни, грозы, но никто не может описать извержение вулкана, – начал свою речь Стахович. – Как после извержения вулкана, кроме все сжегшей лавы, есть еще стихийная масса пепла, которая все засыпает глубоко и тяжело, и только много лет позднее тщательными, равнодушными и беспристрастными усилиями науки можно восстановить условия этих событий, можно представлять, предсказывать ту жизнь Геркуланума и Помпеи, которая так внезапно оборвалась, – так и все движения народной стихии должны быть открыты и могут подвергнуться исследованию лучших историков не непосредственно вслед за своим событием, а только много позже и после долгого и добросовестного труда...»

Вполне вероятно, что, говоря о возможностях «лучших историков» изучить последствия революции только «спустя много лет», Стахович имел в виду не кого иного, как Милюкова – весьма заслуженного, как известно, историка. А вот в следующем пассаже той же речи Стахович уже откровенно негативно оценивал кадетскую тактику «заигрывания с революцией»: «Когда говорят, что не хотят революции, то обыкновенно забывают, что она не зависит от воли отдельных лиц; она даже не зависит от общей воли, она имеет

свойство самовозгорания не только против желания, но иногда против ожидания участников или свидетелей...» Если многие в России, подводил итог Стахович, до сих пор не избавились от «наркоза возбуждения», от влияния того «вихря, который с атмосферической силой пронесется над страной», то есть две категории людей, которые обязаны сохранить в этих обстоятельствах полное трезвомыслие: «Это государственные деятели в настоящем и историк в будущем, когда он станет толковать человечеству значение его великих или ужасных бурь...» Сегодня можно только догадываться, какую реакцию вызвала эта речь Стаховича на кадетских скамьях и лично у Милюкова: в стенографических отчетах Думы об этом, к сожалению, ничего не говорится.

Достаточно важным в перводумской деятельности Стаховича стало его участие в дискуссии по аграрным вопросам. Как известно, проблема крестьянского малоземелья была одним из главных источников революционной смуты в стране. Включившись в обсуждение этого вопроса, Стахович прежде всего заявил: «Я категорически и не колеблясь стою за увеличение площади крестьянского землевладения. Я считаю это делом нужным, считаю его совершенно возможным и считаю его безотложным... Государственная нужда состоит в том, что нельзя существовать дальше, не подняв народ из нищеты. Русское государство нуждается в том, без чего ни одно государство не живет: народ должен стать плательщиком и потребителем...» Однако, по мнению Стаховича, весь вопрос состоит в том, *как именно* провести увеличение крестьянских наделов, не вызвав при этом нового хаоса: «Я не скрываю, что принадлежу к тем староверам, может быть смешным, которые продолжают считать, что поджог, грабеж, насилие – грех и безобразия и что о них нельзя говорить сочувственно, чуть ни ласково... И страшную ответственность кладут на Думу все те, кто с кафедры призывает к самоуправству народному, говорят, как сегодня еще, что надо перейти к силе и пусть-де падет эта кровь на виноватых. Эта пролитая нами и братьями нашими русская кровь прольется не за родину, а в ущерб ей и в горе! Пусть же ляжет она на совесть тех, кто прославляет насилие, подбивает омраченных, нетерпеливых и раздраженных (*аплодисменты справа, ропот слева*)».

Между тем Стахович выступил не только против откровенно социалистических идей земельного передела, но и против кадетского проекта аграрной реформы, предполагавшего решить проблему крестьянского малоземелья за счет отчуждения помещичьих земель «за достойное вознаграждение» и за счет передачи их крестьянам в срочную аренду. В противовес кадетам, Стахович выступил



за передачу земли крестьянам в полную частную собственность: «Я стою не только за то, чтобы земельная площадь крестьянского землевладения была увеличена, но, помня о необходимости подъема культуры, чтобы эту землю крестьяне получили бы в свою собственность... Непременно в собственность, а не во временное пользование, потому что в мире мы не знаем иного, более сильного двигателя культуры, чем собственность».

Еще в ходе работ I Думы стало ясно, что политические позиции таких умеренно либеральных депутатов, как Стахович, граф Гейден, князь Волконский, расходятся не только с более радикальными группировками Думы (от кадетов и далее влево), но и с продолжавшим существовать вне Думы «классическим октябризмом», во многом поддерживавшим правительственный курс. Уже в начале лета 1906 г. встал вопрос о создании самостоятельной политической организации, название которой придумал Стахович – «Партия мирного обновления». Однако скорый роспуск I Думы, последовавший 9 июля, внес в эти планы серьезные коррективы.

11 июля 1906 г., в противовес радикальному Выборгскому воззванию, которое было подписано в основном кадетами и левыми и призывало граждан к сопротивлению, хотя и «пассивному», от Партии мирного обновления было выпущено другое «Воззвание» за подписью трех бывших депутатов – графа Гейдена, Стаховича и Н.Н. Львова. В нем, в частности, говорилось: «В силу ст. 105 Основных законов Государю несомненно принадлежит право роспуска Думы. Мы считаем себя обязанными подчиниться не только по долгу подданных, но и по глубокому сознанию, что было бы преступно среди переживаемых Россией опасностей и смут колебать государствену власть... Поэтому первое слово наше, на ком лежало народное доверие, наше первое слово ко всем избирателям – призыв к спокойствию и противодействию каким бы то ни было насилиям. Только старательной подготовкой к новым выборам и сознательным осуществлением их может народ доказать, что дорожит своим представительством в деле правления и участием в создании законов. К будущим выборам должны быть направлены усилия русского народа, а нужды его будут выражены теми, кого он сознательно выберет. Всякие насилия, беспорядки и нарушения законов представляются нам не только преступными, но среди переживаемой смуты прямо безумными».

Стахович был избран в январе-феврале 1907 г. во II Государственную думу, которая оказалась еще более левой, чем ее предшественница. По разным причинам в новой Думе не оказалось главных соратников Стаховича по Партии мирного обновления – ни

графа Гейдена, ни князя Волконского, ни Николая Львова. И хотя формально во II Думу были выбраны кроме него еще два «мирно-обновленца», Стахович отказался от создания фракции – в отличие от графа Гейдена, он не имел вкуса к партийному руководству.

Основными оппонентами левых в новой Думе оказались уже не умеренные либералы, вроде Гейдена или Волконского, а ультраправые националисты типа Пуришкевича и Крушевана – с такими «союзниками» Стахович не хотел иметь ничего общего. Тем не менее и здесь, во II Думе, он активно выступал не только в пользу умеренных либеральных реформ, но против продолжающегося «революционного террора». Концовка его думской речи от 17 мая 1907 г. оказалась пророческой: «Если Государственная Дума не осудит политических убийств, она совершит его над собою!» Действительно, в изданном 3 июня Высочайшем Указе о роспуске II Думы прямо говорилось: «Уклонившись от осуждения убийств и насилий, Дума не оказала в деле водворения порядка нравственного содействия правительству».

Впоследствии Маклаков, уже неоднократно цитированный в этом очерке, вспоминал о настроениях Стаховича в период II Думы: «Стахович мне не раз повторял, что этот вопрос (о терроре. – А.К.) и теперь, наверное, будет поставлен и сделается испытанием Думы. Если 2-ая Дума, как Первая, от осуждения террора уклонится, она себя уничтожит. Ее не смогут после этого считать "государственным учреждением"; ее судьба этим решится. Когда и на чем ее распустят – неважно. Это будет вопросом лишь времени. Но приговор над нею будет произнесен, не откладывая. Я тогда плохо верил Стаховичу; думал, что он преувеличивает важность вопроса, который им самим был в Думе поставлен...»

Думский опыт Стаховича с роспуском II Думы (июнь 1907 г.) закончился. С 1907 по 1917 г. он заседал в верхней палате парламента – Государственном совете, куда регулярно избирался от орловского дворянства. После Февральской революции Стахович был назначен Временным правительством сначала генерал-губернатором Финляндии, а в сентябре 1917 г. – послом в Испанию. Вскоре после большевистского переворота в России он переехал на юг Франции, в городок Экс-ан-Прованс, где в 1923 г. скончался.

...Я начал этот очерк цитатой из мемуаров проницательной современницы Стаховича – Ариадны Тырковой-Вильямс. Другой цитатой из нее же – о последних годах жизни Михаила Александровича – я хотел бы и закончить: «Временное правительство попыталось сделать из него дипломата, послало его в Мадрид. Он недолго оставался на этом живописном посту, купил на юге Франции ферму,

как Лев Толстой, с которым он был очень близок, сам шел за плугом, опаживая свои виноградники. Он писал друзьям в Англию, что это счастливейшее время его жизни. Там, среди виноградников, он и умер...»

Похоронен Михаил Александрович Стахович на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

**Александр Александрович Стахович:  
«...для нас хорош только путь легальный»**

«Настало время, когда действительно... ценз материальный, вещественный, имущественный потерял свое отжившее значение» и остался один ценз – «ценз совести, честности и знаний и любви к Родине, ценз осведомленности о нуждах населения, ценз доверия избирателей». Эти слова произнесены Александром Александровичем Стаховичем (1858-1915) – известным либеральным деятелем начала XX в. – на собрании в доме елецкого земства 20 октября 1905 г. Приветствуя Манифест 17 октября, благодаря которому «исстрадавшаяся Россия... пойдет... по пути света, истины, свободы», он рисовал идеальный образ народного избранника – будущего депутата Государственной думы. Впрочем, только таким, по убеждению Стаховича, должен быть любой общественный деятель, и этой высокой планке он сам старался соответствовать.

Общественно-политической деятельностью Александр Стахович занялся, оставив военную карьеру, как нельзя лучше подходившую представителю старинного дворянского рода. Род Стаховичей, к которому принадлежал и Михаил Александрович Стахович (брат Александра), вел свою историю с XVII в. от польского шляхтича. Орловская ветвь рода сформировалась в начале XIX в.

Александр Стахович родился 3 апреля 1858 г. в с. Надеждино Рязанской губернии. Его детские годы прошли в родовом имении Пальна-Михайловка в пятнадцати километрах от Ельца, тогда входившего в состав Орловской губернии, а ныне – Липецкой области. Это было время пореформенной модернизации, когда в российский политический процесс были внесены новые ориентиры и образцы. Важнейшая реформа 60-х гг. – отмена крепостного права – кардинальным образом изменила правовое положение крестьян, и, соответственно, взаимоотношения крестьян и помещиков.

Однако в Пальне-Михайловке изменения не имели столь радикального характера: здесь, в атмосфере «патриархального, старозаветного русского помещичьего быта», издавна сложившейся традицией было взаимопонимание слуг и господ, которое, как вспоминал Михаил Стахович, «влекло... в Пальну, в деревню, к простому народу, и служить ему, и жить среди него».

Отец братьев-Стаховичей – Александр Александрович-I – заботился о крестьянах, построил для них школу, больницу и родильный дом. Когда в конце 1950-х гг. фольклорно-краеведческая экспеди-

ция Елецкого педагогического института собирала в Пальне-Михайловке мемориальные материалы, в народе еще жива была благодарная память о нем как о крестьянском кормильце. Уроки гуманного отношения к простому народу, усвоенные Александром в детстве, не прошли даром: лейтмотивом его общественной деятельности в Елецком уезде стала забота об улучшении положения крестьян.

Александр Стахович рос в высококультурной среде, в настоящем «оазисе культуры», которых не так много было в русской провинции. Его отец был знаком с Николаем Васильевичем Гоголем, более 50 лет дружил со Львом Николаевичем Толстым, нередко навещая его в Ясной Поляне; был страстным знатоком и любителем театра, прекрасным чтецом. Известен случай, когда чтение им пьесы «Власть тьмы» в присутствии Александра III привело к разрешению ее постановки, до того запрещенной цензурой.

Домашнее чтение вслух (а в Пальне была огромная библиотека), обсуждение прочитанного – семейная традиция Стаховичей, имела не только образовательное, но огромное воспитательное значение, и, опираясь на опыт своего детства, Александр Александрович впоследствии будет ратовать за внедрение объяснительного чтения в практику преподавания в начальной школе.

Воспитываясь в «талантливой, культурной семье, дружной и спаянной», Александр Стахович, по примеру родителей, со временем создаст свою семью, женившись в 1883 г. на графине Ольге Ивановне Рибопьер. У них будут два сына-близнеца (Александр и Георгий) и три дочери. Семейство поселится в собственном большом уютном доме в Пальне (со 125 десятинами земли), к сожалению, не сохранившемся до наших дней.

По окончании Императорского училища правоведения (одного из наиболее престижных высших учебных заведений дореволюционной России, в котором обучались только дети потомственных дворян) и Николаевского кавалерийского училища Александр Стахович в течение пяти лет служил в гусарском полку. Однако, не чувствуя призвания к военной карьере, он вышел в отставку. С 1891 по 1895 гг. Стахович занимал должность земского начальника Елецкого уезда.

Общественная деятельность Стаховича началась с избрания елецким уездным предводителем дворянства (1895-1904).

Здесь Александр Александрович проявил себя как человек, обладающий хозяйственно-организаторскими способностями (вероятно, унаследовав их от отца – крупнейшего коннозаводчика России), причем характерной чертой его экономических начинаний было

стремление сделать лучше жизнь людей, а не погоня за личной выгодой. Будучи членом комитета елецкой биржи, он считал делом чести для любого предпринимателя всеми силами содействовать благоустройству родного города. В 1902 г. елецкая биржа принимает решение о замощении за свой счет основных городских, а также подъездных дорог к элеватору и станциям, во всю ширину до 12 саженой, а не 3, как предлагала городская дума.

В голодном 1891 г. Александр Стахович вместе с сестрой Надеждой Александровной предпринимает ряд мер для поддержки кружевного промысла, которым в Елецком уезде занимался каждый восьмой житель. Стаховичи организуют закупку кружева, причем по цене на 50% выше сложившейся, и продажу его в Москве, Петербурге и Европе, что позволило кружевницам прокормить семьи и выйти из ростовщической кабалы. Были созданы школа кружевниц в Пальне и склад-музей кружев в Ельце.

Во время холерной эпидемии 1893 г. в Елецком уезде при нехватке у земства денег Михаил и Александр Стаховичи за свой счет приглашают студентов-медиков в село Измалково и Дрезгаловскую волость. Традицию социальной благотворительности братья Стаховичи восприняли от отца, который еще в 1877 г. пожертвовал на содержание Земско-Первовской больницы 20 тысяч рублей, положив их на вечные времена в Елецкий городской банк из расчета 7% годовых.

Важнейшим направлением своей общественной деятельности в Елецком уезде Стахович считал развитие народного образования. На протяжении ряда лет возглавляя уездный училищный совет, он пытался, насколько возможно, улучшить работу образовательных учреждений в рамках сложившейся системы, одновременно обосновав обширную программу преобразований в сфере просвещения, в которой первоочередное внимание уделялось реформе начального и среднего образования как основному средству повышения чрезвычайно низкого уровня грамотности крестьянства.

Просвещение крестьян для Стаховича было неотъемлемым условием подъема сельского хозяйства, ибо он был глубоко убежден, что рационально вести хозяйство может только образованный человек. Александр Александрович категорически возражал против утверждения о том, что сначала крестьянина надо накормить, а потом он будет учиться. Помимо того, образованию он отводил роль катализатора политической активности населения, что, в свою очередь, должно было способствовать формированию в России гражданского общества.

В качестве первого шага образовательной реформы Стахович рассматривал распространение всеобщей грамотности, предостерегая, однако, от восприятия этой задачи как конечной цели. «Нельзя считать конечной целью всеобщую грамотность, она лишь первое средство как приучение молодой лошади к удилам и хомуту, но ведь есть еще выездка», – писал Стахович, в образной форме выражая свою мысль.

Реформирование начального образования виделось Стаховичу как комплекс взаимосвязанных мероприятий. Во-первых, необходимо было увеличение количества школ. Во-вторых, предусматривалась замена 3-летнего обучения 4-летним, ибо, три года Стахович считал слишком коротким сроком для освоения даже азов знаний. В-третьих, существенного пересмотра требовало содержание начального образования. Стахович критиковал программы Министерства народного просвещения за то, что они делали основной упор на освоение учащимися грамматики и написание диктантов. Главной целью обучения в начальной школе, утверждал Александр Александрович, должно быть не заучивание правил, а развитие мышления учащихся, что достигается не грамматикой, а объяснительным чтением. И, наконец, он настаивал на передаче начального образования в заведование органов местного самоуправления, одновременно выступая за усиление общественного контроля за процессом образования. Однако общественный контроль Александр Александрович ни в коем случае не отождествлял с патронажем церкви, категорически возражая против вмешательства духовенства в область надзора за земскими школами. Тревогу у Стаховича вызывало стремление православной церкви контролировать преподавание светских предметов, тогда как, по его убеждению, она имела право наблюдать лишь за изучением Закона Божьего.

В области среднего образования, помимо увеличения количества учебных заведений и внедрения новой методики преподавания (в частности, наглядного метода обучения), Стахович предлагал снижение платы за обучение, что должно было сделать среднее образование более доступным для низших слоев населения. Этой же цели служило предложение об установлении преемственности между начальными и средними школами. В качестве преобладающего типа среднего учебного заведения в аграрной России Стаховичу виделась сельскохозяйственная школа Министерства земледелия.

Ключевую роль в образовательном процессе Александр Александрович отводил личности учителя, отсюда – требование не просто увеличения количества педагогов, но и улучшения их профес-

сиональной подготовки посредством организации различных курсов, семинаров, широкого обмена опытом (в наше время – «августовские педсоветы»). Сознвая необходимость повышения престижа учительской профессии, Стахович предлагал повысить материальное вознаграждение учителей.

В комплекс мер по реформированию системы образования Стахович включал и создание образовательных учреждений для обучения грамотности взрослого населения.

Однако, по убеждению орловского либерала, все задуманное могло остаться благим пожеланием без государственной поддержки образования, ведь у земств для столь масштабных перемен не имелось достаточных финансов.

Помимо образовательной реформы, в качестве действенного средства повышения культурного уровня сельского населения Стахович рассматривал приобщение крестьянства к чтению. С этой целью всячески поощрялось создание библиотек: на 1 января 1911 г. из 138 земских школ Елецкого уезда 65 имели библиотеки.

Стараясь заинтересовать крестьян книгой, Александр Александрович вел непримиримую борьбу с лубочной литературой, являвшейся главной духовной пищей простого народа. По мнению Стаховича, издатели лубочной литературы, преследуя только коммерческую выгоду, всячески потакали самым грубым вкусам и низменным чувствам невежественных людей. В итоге, лубочные издания не только не способствовали просвещению масс, но, напротив, подрывали его основы, убивали высокие нравственные стремления. Лубочную литературу Стахович называл злом даже бóльшим, нежели неграмотность.

Начало борьбы общественности с лубочными изданиями он относил к 60-м гг. XIX в., когда в крупных городах, прежде всего в Санкт-Петербурге и Москве, возникли различные просветительские учреждения. Наряду с изданием хороших книг, они способствовали открытию школ, библиотек, читален. В 70-х гг. в дело просвещения масс включились «Комиссии народных чтений». На рубеже веков важнейшей задачей Стахович считал привлечение к борьбе с распространением лубочной литературы земств, предлагая целую систему мер в этом плане, начиная с организации земского книгоиздательства и заканчивая созданием широкой сети сбыта земских книг. При этом должна быть обеспечена свобода книгоиздательской деятельности земств, элементом которой выступал явочный порядок открытия типографий и книжных складов. Переходя от слов к делу, Стахович стал инициатором открытия в 1900 г. книжного



склада елецкого уездного земства, превратившегося в своеобразный фильтр проникновения в деревню лубочной литературы.

Однако реформаторские устремления Стаховича не замыкались облестью народного образования, он ясно осознавал, что необходимы изменения в различных сферах государственной и общественной жизни.

Александр Александрович был наиболее либеральным членом семьи Стаховичей. Как писал его племянник Михаил Алексеевич, «Паленские Стаховичи, за исключением, быть может одного только дяди Саши, человека искреннего, но неуравновешенного, были все монархистами, но того гуманно-либерального духа, который веял в первые годы царствования Александра II».

С начала 90-х гг. XIX в. Александр Стахович активно включился в либеральное движение: входил в состав кружка «Беседа», «Союза освобождения», был участником съездов земцев-конституционалистов.

В ноябре 1905 г. Стахович возглавил организованную по его инициативе в Ельце уездную кадетскую группу, численность которой к весне 1906 г. составила 119 человек. Александр Александрович сумел привлечь к партийной работе представителей местного чиновничества. В частности, заметной фигурой среди елецких кадетов был барон Александр Константинович Врангель – член окружного суда, имевший репутацию стойкого и убежденного защитника народных прав.

Елецкие кадеты выпускали свой печатный орган – ежедневную газету «Елецкий край», издателем которой был Александр Стахович. Выходу ее первого номера 12 декабря 1906 г. предшествовала годичная переписка Стаховича с канцелярией орловского губернатора. Однако на протяжении всего периода существования газеты (до 1 мая 1907 г.) власти искали любой повод для ее приостановки, а лучше, закрытия. В частности, выпуск газеты был приостановлен почти вскоре после выхода первого номера за статью «14 декабря», посвященную годовщине восстания декабристов. В статье содержался призыв продолжить «великое дело героев 14 декабря». Речь шла о борьбе за конституцию, причем требование республики, выдвигавшееся некоторыми декабристами, подвергалось критике. «Значительное число декабристов..., – говорилось по этому поводу в статье, – заводили речь о республике. И внуки их не удержались, мечтая о республике и осуществлении в России социализма. Это ведет к торжеству насильников». С большим трудом Стаховичу удалось добиться отмены приостановки газеты в конце января 1907 г. За достаточно непродолжительный срок издания «Елецкий край»

завоевал популярность далеко за пределами города и уезда. В газете сотрудничали П.Б. Струве, А.А. Кизеветтер и ряд других столичных литераторов и ученых.

Осенью 1906 г., по примеру кадетских партийных организаций в других регионах, Стахович пытался открыть в Ельце клуб конституционно-демократической партии. На запрос о возможности регистрации последнего был получен отказ губернского общества и союзов присутствия, основанием для которого послужило предположение, что клуб «займется противоправительственной деятельностью». Однако Стахович не отступил, и 21 ноября клуб был открыт явочным порядком. На следующий день явившимися на квартиру Стаховича полицмейстером и председателем «Союза русского народа» Рудневым в отсутствие хозяина квартиры была унесена вывеска клуба. Орловский губернатор собирался даже предать суду всех членов елецкого комитета Партии народной свободы, но затем от своего намерения отказался.

Своеобразный центр общественной жизни Стаховичу в Ельце все же удалось создать. Но это был не кадетский клуб, а «Народный дом». Идею его открытия Стахович высказал еще в 1901 г., стремясь приурочить это событие к 50-летию начала реформ Александра II. Торжественное открытие Дома состоялось 13 февраля 1911 г. Весьма показателен тот факт, что брат царя Михаил, за день до этого присутствовавший на освящении Великокняжеской церкви, не захотел задержаться в Ельце, чтобы принять участие в столь знаменательном для провинциального города событии.

Несмотря на активную деятельность в Ельце, Стаховича нельзя назвать кадетом «провинциального масштаба». Он поддерживал тесный контакт с руководящим ядром партии – ее Центральным комитетом. По просьбе последнего в марте-июне 1907 г. Стахович издавал ежедневную газету «Думский листок». Вообще же он серьезно занимался журналистикой, сотрудничал в центральной прессе: журнале «Русская мысль», газетах «Русские ведомости», «Русское слово», «Русская молва».

Лекционное бюро Московского отдела ЦК, используя ораторский дар Стаховича, неоднократно поручало ему чтение публичных лекций на различные темы и, прежде всего, о программе конституционно-демократической партии.

Популяризируя программу кадетов, стремясь донести ее до самых малограмотных слоев, Стахович писал брошюры. Одна из них – «Как и кого выбирать в Государственную думу. Что такое партийные выборы?» – вышла в преддверии выборов во II Государственную думу и «посвящалась крестьянам и мещанам». В брошюре ав-

тор разъяснял значение Государственной думы как «важнейшего после царя государственного учреждения», призванного работать на благо народа. Однако последнее, предупреждал Стахович, напрямую будет определяться степенью сознательности выборов, а, значит, зависеть от позиции каждого избирателя. Тем самым орловский либерал пытался пробудить в каждом потенциальном участнике избирательного процесса чувство гражданской ответственности, сопричастности к происходящему в стране. По сути, речь шла о формировании гражданского общества в России как залога успешности либерального преобразования страны.

Активное участие принял Стахович в обсуждении программы партии и, прежде всего, ее раздела по аграрному вопросу, ибо нужды деревни были близки и понятны Александру Александровичу с детских лет. Еще работая в елецком уездном земстве, он особое внимание уделял проблеме интенсификации земледелия путем внедрения передовой агротехники, оказания финансовой поддержки крестьянским хозяйствам, поощрения производства товарного хлеба, принимал участие в закладке лесов и лесополос, занимался улучшением быта крестьян, в составе елецкого уездного сельскохозяйственного общества способствовал развитию потребительской, кредитной и сельской кооперации.

В период работы местных Комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности Стахович поднимал проблему снижения выкупных платежей, составлявших значительную часть крестьянских податей. Однако выдвинуть требование о полной отмене выкупных платежей он тогда не решился, боясь, что такая мера подорвет бюджет, поскольку уменьшит его на 80 млн. рублей. Другим вопросом, бывшим в центре внимания Стаховича, являлась проблема урегулирования арендных отношений, ведь, по его подсчетам, 40% частновладельческих земель в Орловской губернии сдавалось в аренду. Стахович доказывал непосредственную связь высокой арендной платы и хищнического землепользования.

В кадетской партии лидер елецкой группы проявил себя как принципиальный сторонник принудительного отчуждения части помещичьих земель, ибо только в подобном решении видел возможность примирения крестьян с землевладельцами.

Заметной страницей в политической биографии Александра Стаховича стало его участие в думских избирательных кампаниях, причем здесь ему непрестанно приходилось бороться с административным произволом, ибо задачей местных властей было не допустить оппозиционные элементы в народное представительство. Не сумев, несмотря на большую предвыборную активность, пройти

в I Думу, Стахович стал депутатом Думы второго созыва. После ее роспуска он попытался баллотироваться в III Думу, но был исключен из списков избирателей, как не проживающий постоянно в Ельце. Для предотвращения возможности повторения данного прецедента на выборах в IV Думу, Стахович в 1911 г. приобрел в Ельце дом, что, впрочем, не помогло ему победить на выборах.

Одновременно он активно выступал в местной прессе, главным образом, в «Елецкой жизни», с критикой российского избирательного законодательства, считая необходимым немедленное исключение из последнего ценза оседлости как проявления недоверия власти к избирателям и инструмента в руках бюрократии для устранения от выборов неугодных лиц. Наряду с этим, Стахович критиковал куриальную систему выборов, закрепляющую сословную организацию общества.

В качестве депутата II Думы Александр Стахович призывал к объединению всех оппозиционных сил, поскольку «есть еще много работы, в которой расхождения не так значительны, как кажется». Планомерное законотворчество – вот магистральный путь преобразования России. «Мы не можем принять догмата, что все пути хороши, для нас хорош только путь легальный», утверждал он, критикуя леворадикальные партии, которые хотят «многого сразу..., не видят ближайших, сейчас могущих быть удовлетворенными нужд народа». Основным поприщем приложения сил Стаховича-депутата стали комиссия по местному самоуправлению и продовольственная комиссия.

В период работы IV Думы Стахович взаимодействовал с фракцией конституционно-демократической партии. Так, в 1913 г., выступая на совещании членов фракции с представителями местных кадетских групп по вопросу использования Думой ее бюджетного права в борьбе с правительственной реакцией, он предлагал утверждение народным представительством ассигнований на флот поставить в зависимость от соблюдения властью Манифеста 17 октября.

В обстановке надвигавшейся мировой войны Александр Стахович поддержал идею панславизма – объединения славянских народов под эгидой России с целью совместного противодействия угрозе со стороны Германии.

С началом I мировой войны Стахович, преисполненный патриотических чувств, принял участие в создании общероссийской общественно-политической организации – Всероссийского земского союза, занимавшегося первоначально помощью больным и раненым воинам. Однако окончания войны, равно как и трагических событий,

последовавших в ее ходе, Александру Александровичу Стаховичу увидеть не удалось: он скончался в 1915 г. и был похоронен в Пальне-Михайловке.

**Федор Васильевич Татаринов:  
«...строить здание народной свободы»**

«Одаренный блестящими способностями, он в свое время получил широкое гуманитарное образование. Хорошо знал историю, философию и в особенности русскую литературу, цитируя наизусть не только поэтов, но и большие отрывки из Толстого и Тургенева. Вероятно, он мог бы в свое время пойти по научной дороге, но его потянуло к общественной жизни». Эти слова князя Владимира Андреевича Оболенского – характеристика Федора Васильевича Татаринова – видного деятеля общероссийского либерального движения рубежа XIX-XX вв., лидера орловских кадетов.

Татаринов родился 9 мая 1860 г. в Санкт-Петербурге в семье орловского помещика. По линии матери он происходил из российской ветви старинного немецкого дворянского рода фон Рутценов.

Окончив третью классическую гимназию г. Москвы, Федор Татаринов поступил на историко-филологический факультет Московского университета.

В 1883 г., с успехом завершив обучение, Татаринов поселился в Орле, с которым будет связана вся его последующая служебная и общественная деятельность. В апреле 1885 г. Федор Васильевич поступил на службу в орловский окружной суд кандидатом на судебные должности, а в октябре того же года был избран мировым судьей по Орловскому уезду. После упразднения института мировых судей, в 1891 г. Татаринова назначают городским судьей первого участка г. Орла.

В 1893 г. Татаринов становится членом орловской губернской земской управы, а через семь лет – председателем уездной земской управы и почетным мировым судьей. В этот период Федор Васильевич принимал активное участие в переустройстве психиатрической больницы и организации лечебницы для душевнобольных в Кишкинке, а также в работе орловского комитета народных чтений.

Как повествует Оболенский, «русская провинциальная жизнь... протекала в те времена тихо и медленно... В городах присутственные места закрывались в 3 часа дня, а летом нередко и в 2 часа». Татаринов «ходил в управу, проводя там большую часть времени в коллегиальных заседаниях и разговорах деловых и праздных, а дома принимал гостей, а если гостей не было, раскладывал пасьянсы».

Семья Татаринова состояла «из на редкость красивой жены» – М.А. Типаловой и четверых (по другим данным – троих) детей. Эта семья «по всему складу своей жизни была пережитком тургеневских времен и в период, когда уже слышались подземные шумы надвигающейся революции 1905 года, представляла собой милый анахронизм».

Будучи крупным помещиком Орловской губернии (1950 десятин в селе Хотетово Болховского уезда), Татаринов уделял хозяйству мало внимания. В его имении, как и во многих других, «хозяйничали приказчики, а помещики поздно вставали, объезжали поля на беговых дрожках и выслушивали их доклады». В результате «большое черноземное имение, при плохом управлении, давало доходов немного, было заложено и перезаложено».

Татариновы проживали в деревне летом. К ним на праздники и по воскресеньям съезжались орловские знакомые, чувствовавшие себя здесь как дома. «Ночевали кто на кроватях, кто на полу, гуляли, пели песни, запоем играли в крокет». Столь же гостеприимной и непринужденной была остановка в доме Татариновых в Орле.

Вследствие постоянного недостатка в средствах, «их орловская квартира была всегда грязна и нуждалась в ремонте, – вспоминал Оболенский, – мебель потерта, из кресел и диванов торчал волос. Но художественная прелесть таких старых дворянских гнезд состояла как раз в свободе от норм мещанского бюджета. На рваных креслах всегда сидели гости... Некоторые оставались обедать и ужинать. Ели скромно, но всем хватало».

В доме «всегда было шумно и весело. Игры молодежи чередовались с музыкой, музыка со спорами на философские, литературные... темы».

Но не меньше занимали собравшихся политические вопросы, вызывавшие «споры чисто русские, безбрежные, тянувшиеся далеко за полночь», тем более, что «дом Татариновых в Орле был единственным центром, в котором встречались люди из двух замкнутых кругов – местной "аристократии" и местной "интеллигенции"». Бывали здесь и представители третьего элемента – агрономы, статистики, «по преимуществу, социалисты». В этой разношерстной политической компании Федор Васильевич, по определению Оболенского, «был единственным чистым либералом» и в спорах на политические темы ему чаще приходилось защищаться, чем нападать.

Либеральные взгляды привели Татаринова в нелегальный либеральный кружок «Беседа», созданный в 1899 г. в Москве. Татаринов и братья Стаховичи (Александр и Михаил) представляли

здесь орловских либералов. По первоначальным планам, "собеседники" намеревались обсуждать различные вопросы земской жизни. Но уже к началу 1902 г. многие члены кружка стали выступать за расширение круга рассматриваемых проблем, ибо считали, что любой вопрос земской жизни в сложившейся ситуации упирается в политику. Активным сторонником этой точки зрения был Татаринов.

Помимо «Беседы», он представлял Орловскую губернию на съездах еще двух либеральных протопартийных организаций – «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов».

В 1904 г. Татаринов выступил в качестве одного из организаторов банкетной кампании в Орле, приуроченной к 40-летию судебных уставов и начатой по инициативе II съезда «Союза освобождения». Вспоминая те события, Оболенский писал: «В ноябре и декабре в большинстве русских губернских городов царило невероятное политическое возбуждение по случаю начавшегося так называемого "банкетного" движения. Газеты были полны описаниями политических банкетов с изложением совершенно непривычно смелых речей ораторов, из которых цензура, однако, неукоснительно вычеркивала слово "конституция"». Одну из таких речей на банкете 2 декабря с участием более 200 человек произнес Татаринов. В качестве лейтмотива в ней звучала идея о необходимости использования общественного подъема для давления на власть с целью проведения либеральных реформ.

Новый этап общественной деятельности и своеобразный пик политической карьеры Татаринова связан с первой российской революцией.

Только всеобщая железнодорожная забастовка помешала Федору Васильевичу принять участие в Учредительном съезде конституционно-демократической партии в октябре 1905 г., на который он получил приглашение. Но чуть позже Татаринов участвовал в заседании ЦК, где ему была поручена организация губернского комитета партии. Последний конституировался в октябре (по другим данным, ноябре) 1905 г., а Федор Васильевич стал его председателем. Ядро комитета составили служащие губернского земства (60%). В частности, должность товарища председателя занимал агроном губернской управы Владислав Григорьевич Франковский. К весне 1906 г. численность губернской группы достигла 150 человек, из которых свыше половины принадлежало к городской интеллигенции. Заметную роль среди орловских кадетов играл присяжный поверенный Василий Николаевич Ильинский – выходец из крестьян.



ян-однодворцев, окончивший юридический факультет Московского университета.

Местные кадеты во главе с Татариновым приняли активное участие в обсуждении проекта партийной программы. Осознавая необходимость проведения в России системных реформ, они сделали упор на социальных преобразованиях и, главным образом, на разрешении аграрного вопроса. Выдвижение его на первый план было обусловлено прежде всего тем, что Орловская губерния являлась аграрной, большинство населения здесь составляли крестьяне, а аграрный вопрос стоял наиболее остро.

Татаринов не понаслышке знал о положении в орловской деревне. В 90-х гг. он вел статистические исследования по линии земства, которые охватывали все, не только экономические, но и бытовые стороны крестьянской жизни. Известен его доклад в статистическую комиссию (1899 г.), в котором автор обосновывал основные подходы к определению доходности земли, рассматривавшейся в качестве одного из критериев при установлении размера земского налога.

Позиция Татаринова по аграрному вопросу получила непосредственное отражение в проекте аграрной реформы орловской кадетской группы, отличавшемся по ряду положений от официальной линии партии. При этом расхождения касались вопросов об условиях принудительного отчуждения помещичьих земель, тогда как сам принцип Татариновым под сомнение не ставился.

Принудительное отчуждение части помещичьих земель лидер орловских кадетов считал единственно возможным способом разрешения проблемы крестьянского малоземелья и снижения накала социальной борьбы в деревне. С его точки зрения, принцип принудительного отчуждения не противоречил праву частной собственности, ибо само понятие собственности подчинено понятию о государственной пользе и в случае государственной необходимости может быть ограничено. В этом направлении, по убеждению Татаринова, развивалось законодательство западных стран, и, кроме того, принудительное отчуждение уже применялось в северо-западном крае. Здесь сначала было предоставлено право выкупа арендных участков, которым до 1901 г. воспользовались 40% арендаторов, а по закону 1901 г. выкуп сделан обязательным.

Вразрез с центральной программой, Татаринов выступал за расширение категорий земель, подлежащих принудительному отчуждению, предлагая включить в их число помещичьи владения с интенсивным методом ведения хозяйства. Передача их крестьянам, по его мнению, не должна была привести к падению эффективно-

сти землепользования, как предостерегали противники данной меры, поскольку уровень культурности помещичьих хозяйств в большинстве своем очень невысок. В пример лидер орловских кадетов приводил Воронежскую губернию, где интенсивные методы применялись лишь на 15% всей площади помещичьих земель, тогда как остальные земли обрабатывались при помощи крестьянского инвентаря или сдавались в аренду крестьянам. Помимо того, подчеркивал Татаринов, факт перехода земли к крестьянам не изменит урожайности в худшую сторону, поскольку принудительное отчуждение обязательно должно сочетаться с интенсификацией обработки земли. Для помощи крестьянам в этом плане предполагалось развитие системы мелкого кредита, причем созданием кооперативных кредитных органов должны были заняться земства, поскольку сами крестьяне, по мнению либерала, были не способны к самостоятельной кооперативной деятельности ввиду малокультурности.

Предел неотчуждаемой помещичьей земли для черноземной полосы Татаринов предлагал установить в размере 150 десятин, т.е. более чем в 3 раза меньше, нежели было закреплено в официальных документах Партии народной свободы. Впрочем, для других областей России, где проблема крестьянского малоземелья стояла не так остро, Татаринов допускал увеличение максимума оставленной у помещиков земли до 350 десятин.

Особую позицию Федор Васильевич занимал по вопросу об условиях принудительного отчуждения частновладельческих земель. Согласившись с положением о возмещении половины расходов по выкупной операции самими крестьянами, вошедшим в аграрный проект кадетской партии во II Думе, он предложил вторую половину платежей, возлагавшуюся в соответствии с этим проектом на государство, отменить за неимением в бюджете средств на данные цели. Таким образом, Татаринов настаивал на частичной конфискации помещичьих земель. Полную отмену выкупа он категорически отрицал как меру, нарушающую право частной собственности и чреватую для страны финансовым кризисом ввиду того, что многие помещичьи земли выступали в качестве залога при заключении их владельцами ссудных договоров с банками.

Резкой критике подверг Татаринов положение кадетской аграрной программы об исчислении размера выкупа подлежащих отчуждению помещичьих земель, исходя из так называемой справедливой (не рыночной) оценки, базирующейся на показателе доходности земли. По мнению либерала, доходность земли не может определяться как разница между валовой доходностью и совокупностью издержек производства. Один из его аргументов состоял в том, что

земля сама по себе, взятая отдельно от человеческой деятельности, не имеет ценности. Доход земля приносит, когда к ней приложен труд и капитал в какой-либо форме, а значит, то, что называют доходностью земли по закону, есть в действительности доходность целого хозяйства. Это, с точки зрения Татаринова, необходимо учитывать при оценке подлежащих отчуждению помещичьих земель, ибо в противном случае, размер выкупа будет завышен.

Орловский либерал поддержал положение о потребительской норме наделения крестьян землей, то есть таким количеством земли, которое достаточно для покрытия средних потребностей в продовольствии, одежде, жилище и для несения повинностей. Критикуя пункт аграрного проекта трудовиков о наделении крестьян землей по трудовой норме, Татаринов указывал на то, что под эту норму можно подвести все земли, которыми владеют крестьяне: в итоге получится масса землевладельцев в 30-40 десятин и 3-4 десятины, что не справедливо.

Таким образом, позиция орловского либерала по вопросу принудительного отчуждения частновладельческих земель отличалась от аграрной программы Партии народной свободы большим радикализмом и в плане предельной нормы неотчуждаемых земель, и в отношении размера вознаграждения бывшим землевладельцам. И уж совсем противоречило официальной позиции кадетской партии мнение Татаринова о возможности национализации отчужденных земель.

Иначе виделся орловскому кадету и механизм реализации аграрной реформы. Он считал нецелесообразным передачу ее осуществления в руки местных комитетов, как того требовала партийная программа, ибо в этом случае на первый план выступят местные интересы, которые могут противоречить общегосударственным. По мнению Татаринова, успех аграрной реформы во многом будет зависеть от ее полноты, целостности, согласованности разрешения региональных и общероссийских проблем. Основы реформы разрабатываются центральными учреждениями – земельными комиссиями или Думой, а местным комитетам должна быть отведена роль чисто исполнительная и подготовительная.

Лидер орловских кадетов участвовал в работе аграрной комиссии при ЦК партии, начавшей заседания в январе 1906 г. Он неоднократно критиковал ЦК по вопросу о приемах работы над аграрным проектом: «Губернские комитеты просили доставить сырой материал областного съезда, а ЦК этого не использовал. А если бы было это выполнено, все было бы обсуждено и разногласий было бы меньше».

Продуманная, фактологически обоснованная позиция Татаринова по аграрному вопросу являлась своеобразным свидетельством его общественно-политической зрелости. Недаром Федору Васильевичу было доверено представлять Орловскую губернию в I и II Государственных думах.

Думская деятельность составляет особую страницу в биографии лидера орловских кадетов. Подобно своим соратникам по партии, он возлагал большие надежды на планомерную законодательную работу в парламенте, видя в ней основное средство реализации либеральной программы преобразования страны, целью которой было формирование в России правового государства и гражданского общества. Проводы Татаринова в Санкт-Петербург в апреле 1906 г. переросли в митинг с пафосными речами, где Дума сравнивалась с чудотворной святыней, от которой народ ждет исцеления от потрясений.

Свидетельством авторитета Татаринова в кадетской партии является обсуждение на заседании партийной фракции предложения о выдвижении его кандидатуры на должность секретаря II Думы. И хотя кандидатура Татаринова была отклонена, однозначно в его пользу звучит обоснование этого шага: «не пригоден к чисто методической работе», чем фактически была признана ценность использования Татаринова как теоретика, аналитика, оратора.

Главной сферой приложения сил Татаринова-депутата стала аграрная комиссия при парламентской фракции кадетов, в которой он продолжал отстаивать свой взгляд на земельную реформу. Разногласия с официальной партийной линией, в конце концов, привели к выходу орловского либерала из данной комиссии в период работы II Думы.

В оценке столыпинской аграрной реформы Татаринов был солидарен с позицией ЦК. Отмечая экономическую неэффективность общинного землевладения, а также начавшийся процесс разложения общины, он все же настаивал на том, что решение вопроса об общине надо предоставить самой жизни. Правительственные меры в отношении общины он квалифицировал как насилие. Вместе с тем, Татаринов поддерживал переселенческую политику П.А. Столыпина, уточняя, однако, что основную роль в решении аграрного вопроса должно сыграть принудительное отчуждение части помещичьих земель.

Неоднозначна позиция орловского либерала по проблеме чрезвычайного законотворчества, широко практиковавшегося Столыпиным. В отличие от многих своих соратников, он высказался против немедленной отмены всех законов, принятых в порядке ст. 87. При

этом Татаринов исходил из того, что ряд законов содержит вполне приемлемые положения, которые, в случае отмены законов, придется принимать заново, создавая лишнюю бюрократическую путаницу. Кроме того, на некоторый период времени возникнет законодательный вакуум, что, безусловно, не будет способствовать разрешению насущных социальных проблем и успокоению страны.

В знак протеста против роспуска I Думы Татаринов поставил свою подпись под Выборгским воззванием. Однако он не питал надежд на реализацию содержавшегося в воззвании призыва к пассивному сопротивлению. На совещании ЦК с представителями губернских комитетов 2-3 августа 1906 г. Татаринов от имени орловского губернского комитета сообщил о единогласном признании невозможности осуществления призывов воззвания ни в городе, ни в деревне, ибо большинство населения не готово к активной организованной борьбе, хотя настроено весьма оппозиционно. События последнего времени, говорил Татаринов, неоднократно свидетельствовали о том, что между настроениями и практическими шагами лежит пропасть. Это было наблюдение реалистически мыслящего политика.

Однако неудача первого народного представительства индифферентность масс к его судьбе, подчеркивал Татаринов, не должна привести к разочарованию системой представительства как такового, депутатам необходимо продолжать строительство «здания народной свободы, в основание которого I Дума положила первый камень». Причем орловский либерал считал неоправданной тактику «бережения Думы», избранную кадетами, призывал к более активным действиям, требуя «не проявлять боязни роспуска, не заигрывать с правыми, поскольку правительство начинает эксплуатировать излишнее стремление сберечь Думу».

Принципиальную оппозиционность власти Татаринов демонстрировал, несмотря на то, что орловский губернатор всеми доступными легальными средствами пытался стеснить деятельность лидера местных кадетов. Еще до начала выборов во II Думу Татаринову пришлось отстаивать свое избирательное право, поскольку он был исключен из списка выборщиков за проживание летом в Санкт-Петербурге, а затем, до осени, в деревне. Местные власти чинили препятствия общению депутата с избирателями во время его поездок в Орел.

Депутатская карьера Федора Васильевича закончилась с роспуском 3 июня 1907 г. II Государственной Думы. Попытки орловских кадетов провести своих кандидатов в новый состав народного представительства успеха не имели. Политическая активность ка-

детских организаций Орловской губернии сократилась. Некоторые из них распались или оказались на грани распада.

...События Октября 1917 г. были восприняты Татариновым как национальная катастрофа. С началом гражданской войны он уезжает с женой в Крым, откуда эмигрирует в Болгарию. Здесь Татаринов проводит несколько лет, затем перевозит свою заболевшую раком жену во Францию. Они поселились под Парижем, в Кламаре. По свидетельству современников, в эмиграции Татаринов, «вышибленный революцией из привычной ему обстановки, как-то растерялся, очень поправел в своих политических взглядах и потерял всякий вкус к общественной деятельности. Ни с кем из прежних своих знакомых (а в Париже было их много) не видался и угрюмо и одиноко доживал свой век», весь день проводя за раскладыванием пасьянсов.

Похоронив жену в 1930 г., Федор Васильевич Татаринов скончался через три года и нашел последний приют рядом с ней, на Кламарском кладбище.

**Сергей Николаевич Булгаков:  
«Не нужно разделять сознательно идеи века,  
чтобы быть тем не менее его сыном»**

Уроженец Ливенского уезда Орловской губернии, Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944) проявил себя в различных областях духовной культуры – в философии, социологии, экономике, литературоведении, богословии. В творческих исканиях С.Н. Булгакова, как в зеркале, отразился духовный путь многих русских интеллигентов конца XIX - начала XX вв. Начав свою деятельность как ученый-экономист, стоявший на идейных позициях марксистского учения, в зрелые годы своей творческой жизни Булгаков получил известность религиозно мыслящего философа. В течение своей жизни он пережил несколько коренных мировоззренческих переломов, придя в конце концов от атеизма к религиозной вере и сану священника. В 1923 г. Булгаков (отец Сергей Булгаков) был выслан из Советской России и в числе многих представителей отечественной интеллигенции был вынужден работать за границей.

Он прожил большую и сложную жизнь, наполненную событиями как личного, так и исторического характера, был выдающимся мыслителем, одним из замечательных гениев «серебряного века», другом Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, идейным последователем Ф.М. Достоевского и Вл.С. Соловьева. Его жизнь, его личность раскрываются нам в автобиографических заметках, дневниках и письмах, представляющих собой уникальный исповедальный опыт современника русских революций, изгнанника, проповедника, духовного пастыря, философа, прошедшего огромный и противоречивый в мировоззренческом плане путь. Это опыт человека, который, по словам его ученика В.В. Зеньковского, находился «в постоянном борении с историческим злом, с провинциальной косностью, со своей собственной недостаточностью и греховностью», стремился «в напряженнейшем усилии понять не только ход событий, но и проникнуть в сокровенную сущность вещей».

Булгаков был настоящим «сыном своего времени», русским интеллигентом, чьи идейные устои формировались в 80-90-е годы XIX в., в период широкого распространения марксизма в России. Он, как и многие современники, связывал с марксизмом свои оптимистические надежды на изменение жизни к лучшему, на преодоление всех социальных бед. Юноше-Булгакову, студенту юридического факультета Московского университета, сознательно ушедше-

му со священнической стези своих предков, марксизм казался самым прогрессивным учением. Именно в марксизме и практическом применении марксистских положений Булгаков, как и многие, по словам Достоевского, лучшие «русские мальчишки», видел возможность «идейно» «спасать Отечество от царской тирании», служить благу и интересам народа, то есть осуществлять то, в чем русская интеллигенция видела свой долг.

По признанию самого Булгакова, «после томительного удушья 80-х гг. марксизм явился источником бодрости и деятельного оптимизма, боевым кличем молодой России, как бы общественным ее бродилом. Он усвоил и с настойчивой энергией пропагандировал определенный, освященный вековым опытом Запада практический способ действий, а вместе с тем и оживил упавшую было в русском обществе веру в близость национального возрождения...». «В 90-е годы именно марксизм был первым горячим ручейком, растопившим зимний лед и реально свидетельствующим самим фактом своего появления, что солнце поворачивается к весне».

Новый XX век Булгаков встретил в качестве сложившегося ученого, специалиста в области политэкономии, автора магистерской диссертации «Капитализм и земледелие» (1901), «надежды русского марксизма» (Г.В. Плеханов). Однако жизнь, ее переменчивые веяния внесли свои коррективы в его умонастроения. В самом начале столетия Сергей Николаевич переживает своего рода идейный перелом, коренным образом сменивший мировоззренческие и научно-теоретические приоритеты. Булгаков-экономист становится Булгаковым-философом, философом-идеалистом, в духе Владимира Соловьева. Он возвращается «на родину духовную», к религиозной вере шести поколений своих предков – православных священников. В своем знаменитом сборнике «От марксизма к идеализму» (1903) он объясняет свой духовный перелом и отмечает, что все прежние, вдохновлявшие его в юности идеалы – социальная справедливость, общественный прогресс, политический либерализм – остались и сейчас. Однако под них он подводит новый фундамент – философского идеализма и религиозной веры. Булгаков входит теперь в «особое поле духовной культуры», сформированное метафизикой Достоевского, в котором первостепенное значение придается так называемым «мировым вопросам» – о Боге, о мире, о человеке, о добре и зле, о высшей Истине и высшей Справедливости.

Тем не менее, в этот «метафизический» период своего творчества, когда были написаны серьезные философские труды, прежде всего знаменитая «Философия хозяйства», Булгаков де-



монстрирует высокую политическую активность. В 1904 г. он стал членом либеральной организации «Союз освобождения», сотрудничал в журнале «Освобождение», готовил аграрную программу «Союза». В 1905-1906 гг. Булгаков был близок к кадетской партии.

В 1906 г. он принял участие в создании «Союза христианской политики», а в 1907 г. был избран депутатом II Государственной Думы от Орловской губернии. Он был избран как беспартийный («христианский социалист»), имевший к тому времени неудачный опыт создания собственной партии, опыт неосуществившийся, но, тем не менее, полезный.

Думается, именно в своей неудавшейся попытке создания политической партии – «Союза христианской политики» – Булгаков воплотил настоятельную потребность живого участия в социальной практике. «Союз христианской политики» и его программа – это «практический» ответ Булгакова на запросы самой жизни, требующей социально-политических изменений. Вокруг «Союза христианской политики» Булгакова сплотился небольшой круг единомышленников, среди которых были такие известные персоны, как Н.А. Бердяев, А.В. Карташев, А.С. Глинка (Волжский), А.С. Аскольдов и др.

Источником «христианской политики» Булгаков полагал идеи религиозного философа Владимира Соловьева, создателя национальной философской школы всеединства и софиологии (учения о Софии), автора серьезнейшего метафизического учения о Богочеловечестве. В пространстве идей Соловьева сформировалась и собственная философия Булгакова, считавшего себя его скромным учеником и последователем.

Основу программы «Союза христианской политики» составила выраженная Вл. Соловьевым идея активности человека. По словам Булгакова, человек, прежде всего человек-христианин, не должен быть пассивным в социальной жизни, поскольку с нравственно-христианской точки зрения нельзя оправдать бездеятельность. Нельзя только грезить о Богочеловечестве – этой высочайшей ступени человеческого существования, раскрывающей самые лучшие человеческие качества и возможности, надо деятельно приближать наступление этой исторической ступени. Нужна активная деятельность каждого христианина, направленная на организацию единого человечества, на процесс приближения к богочеловеческому состоянию. Здесь «мало одних усилий личного усовершенствования и душеспасительства, но необходимо воздействие и на общественные формы и на внешние отношения людей между собою, необходима не только личная, но и социальная мораль, т.е. политика».

Причем у Булгакова речь идет не просто о политике как средстве «внешнего устроения» человеческих отношений, но именно о «христианской политике», которая понимается как жизненная реализация заветов Христа. Каждый христианин должен в меру своих сил содействовать тому, чтобы подчинить «государственного Левиафана» христианским задачам, заставить его служить христианским идеалам. «Христианская политика», по Булгакову, должна отрицать всякое порабощение человека человеком – экономическое, политическое и т.п. Капитализм, основанный на насилии и неправде, должен быть разрушен и заменен социализмом. Высоконравственные требования социалистов и их активная жизненная позиция импонировали Булгакову, пожалуй, всегда, не только в период его активной политической деятельности, период, кстати, весьма непродолжительный, ограниченный годами первой русской революции. Духовная ограниченность, мещанская узость социализма, нацеленного только на внешнее преобразование жизни, должна гармонически сгладиться, смягчиться «внутренней правдой» христианства, христианской любовью и состраданием, христианской идеей духовного преображения каждой человеческой личности. В этом смысл «христианской политики» с точки зрения Сергея Николаевича Булгакова. Однако, как вспоминает он спустя несколько десятилетий в своей автобиографии, «своей партии я не создал,... для этого у меня ... не хватало ни воли, ни умения, ни даже желания... Сам я очень скоро разочаровался и отказался от этой затеи».

Кровавые революционные события и непродолжительное (примерно в течение четырех месяцев) «сидение» в Государственной думе отвратило Булгакова от революции. Об этом он писал: «Я вышел из Гос. Думы таким черным, как никогда не бывал... Нужно было пережить всю безнадежность, нелепость, невежественность, никчемность этого собрания, в своем убожестве даже не замечавшего этой своей абсолютной непригодности ни для какого дела, утопавшего в бесконечной болтовне, тешившего самые мелкие тщеславные чувства. Я не знавал в мире места с более нездоровой атмосферой, нежели общий зал и кулуары Государственной Думы...» «2-я Гос. Дума для меня явилась таким обличением лжи революции, что я и политически от нее выздоровел». Девять раз выступал Булгаков в Государственной думе второго созыва, предлагая правительству строить свои отношения с народом на основе права, воплощающего в себе требования христианской морали. Он был искренне убежден, что именно Дума – народное представительство должна взять на себя «нелегкую задачу» – задачу «создания права вместо бесправия». Когда каждый член народного пред-

ставительства сознательно поднимется над партийными интересами, возвысится «над отдельной партийной точкой зрения» и пожелает мужества правительству действовать на основе права, Россия сможет, наконец, выйти из состояния «кровавого боя» между правительством и народом, выйти из разрушительной революции.

В письме Глинке (Волжскому) Булгаков рассказывает о тех метаморфозах сознания, которые произошли с ним во время работы в Государственной думе: «"Линяние" мое совершается в совершенно противоположном направлении, в направлении, если кратко и условно выразиться, к "православию" с его аскетической, мироотрицающей философией. Думские впечатления ... дали мне огромный душевный и жизненный опыт, под впечатлением которого у меня закипела – неожиданно – внутренняя работа новой переоценки ценностей и самопроверки. Сами собой стали знаки вопроса (хотя еще и нет ответа) над старыми догматами христианской "политики", "общественности", культуры... Думать некогда, да и нельзя ускорить этого, работа души идет сама собой, но кое от чего я освободился уже окончательно (как например, от христианской политики или братства борьбы), почему и "окадетился" окончательно. ...Я все сильнее чувствую правду и глубину Розановской альтернативы в статье об Иисусе Сладчайшем: или мир – или Христос».

Итогом размышлений о революции явилось его участие в знаменитом сборнике «Вехи» 1909 г., в котором он вместе с Бердяевым, С.Л. Франком, П.Б. Струве и другими философами-либералами размышляет об интеллигенции в революции, о сущности революции как таковой и о революции в России. Он пишет об антигуманизме и аморализме революции, придя к этому выводу не столько путем теоретических размышлений и строгой логики, но прежде всего через собственные ощущения. Он получил эти ощущения в Киеве, где «профессорствовал» в 1901-1906 гг. День 17 октября 1905 г. он «встретил с энтузиазмом почти обморочным, ...сказал студентам совершенно безумную по экзальтации речь... и из аудитории Киевского Политехникума мы отправились на площадь ("освободить заключенных борцов"). Все украсились красными лоскутками в петлицах, и я тогда надел на себя красную розетку, причем, делая это, я чувствовал, что совершаю какой-то мистический акт, принимаю род посвящения. На площади я почувствовал совершенно явственно влияние антихристового духа: речи ораторов, революционная наглость..., – словом, что-то чужое, холодное и смертоносное так оледенило мне сердце, что, придя домой, *я бросил свою красную розетку в ватерклозет*». Думская деятельность только усугубила ощущение «мертвящей сущности» ре-

волюции, противником которой Булгаков остался навсегда. В «Ве-  
хах» Булгаков пытается показать гибельный характер революции –  
для России, для человеческого существа вообще. Он пытается  
найти какой-то «внеревolutionный культурный центр», «свобод-  
ный от красной и черной сотни», опираясь на который, можно про-  
извести в России социальные преобразования. Сама неудавшаяся  
попытка создания партии христианских социалистов была приме-  
ром этого поиска.

В дни Февральской революции Булгаков сравнивал себя с  
«мрачным Гамлетом», который молча бродил «среди сумасшед-  
ших», выделяясь тем самым «на фоне общего иступления». Он  
находился вне общей революционной эйфории, захватившей Моск-  
ву, где он жил тогда, и с презрением и негодованием вспоминал о  
«гнусных революционных песнях», «гнусных демонстрациях»,  
«гнусных красных тряпках», «не то немцах, не то большевиках с  
агитацией против войны». «Я видел и чувствовал, что пришел крас-  
ный хам, что жизнь становится вульгарной и низкой и нет уже Рос-  
сии». Он беспокоился о царской семье и считал, что революции и  
революционным силам не конституция нужна как некий апофеоз  
свободы, а гнусное царубийство – «настоящая черная месса ре-  
волюции», яркое выражение гибельной сущности революции как  
таковой. Наверное, Булгаков никогда не был раньше таким убеж-  
денным монархистом, каким стал в 1917-1918 гг. Его религиозное  
сознание не могло принять убийства вообще. В революционной  
ненависти к царю, воплотившейся, в конце концов, в убийстве цар-  
ской семьи, Булгаков видел торжество «хамократии» и глубоко со-  
жалел, что его настроения и идеи не разделяли его друзья и еди-  
номышленники, представители русской философской мысли и ли-  
берально настроенной интеллигенции. Бердяев (Бердяев «бердя-  
евствовал», то есть философствовал о необходимости и важности  
революции, о ее высоком предназначении), Е.Н. Трубецкой (Тру-  
бецкой «плыл в широком русле кадетского либерализма и  
...относился к Государю с застарелым раздражением»), Г.А. Рачин-  
ский (Рачинский «был левее левых). Только Флоренский, священ-  
ник Павел Флоренский, с терпением и мудростью относился к бул-  
гаковскому «революционному» монархизму, явившемуся итогом  
долгих его политических опытов и раздумий.

Пережив Октябрь 1917 г. и приход к власти большевиков, Бул-  
гаков совершенно отказывается от активного участия в политиче-  
ской жизни и вообще отвергает политику как средство разрешения  
социальных проблем. Ему уже не кажется удачной мысль о созда-  
нии политической партии «христианских социалистов», так как, с

его точки зрения, подобная попытка являлась бы принижением «вселенских глаголов христианства». Здесь уже явственно звучит голос Булгакова-священника, принявшего духовный сан в 1918 г., голос духовного лица, не признающего возможность слияния Церкви как начала вечного, незыблемого, абсолютного с какими бы то ни было «земными», относительными, временными, преходящими союзами (в том числе и с политическими партиями). Более того, по убеждению отца Сергия Булгакова, всякая политика, не основывающаяся на христианских моральных ценностях, ложна и разрушительна.

Тем не менее, сформировавшиеся в молодые годы либеральные идеи свободы, персональной ответственности за свою деятельность, уважения к человеку всегда принимались Булгаковым, были незыблемыми правилами в его отношениях к людям, к общественной жизни.

В 1918 г., вскоре после рукоположения, Булгаков (отец Сергий Булгаков) выехал из Москвы в Крым, где оставался вплоть до своей высылки из России в Константинополь в 1923 г. Как писал Александр Мень, «та же самая судьба, которая вам всем знакома по прекрасной картине "Бег", созданной по мотивам книги другого Булгакова. Сергей Николаевич в Константинополе. Страданий много...». Из Турции он с семьей переехал в Прагу, где жил до 1925 г., занимаясь преподаванием церковного права и богословия на юридическом факультете Русского научного института. В 1925 г. Булгаков переехал в Париж, в то время настоящий центр русской эмиграции, где вместе со своим давним другом Бердяевым работал в Русском Православном богословском институте.

Трагедия эмиграции для Булгакова – это и личная его трагедия, трагедия отца, потерявшего в страшные 20-е гг. в России своего старшего сына Федора. Федор, женатый на дочери художника М.В. Нестерова, разлученный со своими родителями событиями гражданской войны, всю свою жизнь прожил в Москве. С.Н. Булгаков жил в Париже с женой Еленой Ивановной, дочерью Марией и сыном Сергеем.

В конце 30-х гг. Булгаков тяжело заболел, в 1939 г. перенес операцию по поводу рака горла, пережил клиническую смерть. Свой экзистенциальный опыт «умирания», трагизм переживания смерти близких людей, прежде всего, своего малолетнего сына Ивашечки (умер в 1909 г. в возрасте трех лет) он осмыслил в совершенно пронзительной работе «Софиология смерти». Отец Сергий был глубоко убежден, прежде всего, на основании собственного опыта, что человеку чрезвычайно важно психологически преодо-

леть страх смерти и страх одиночества перед лицом смерти. Это возможно только через веру в то, что со всякой смертью человека Христос «вместе с ним со-умирает» и впереди опять же с Христом грядет «со-воскресение». Благодаря названной работе, Булгаков предстает перед нами не только как глубоко верующий человек, но как разноплановый, многогранный философ, чья мысль движется в духе религиозного экзистенциализма, близка идеям таких известных европейских философов-современников Булгакова, как К. Ясперс и Г. Марсель.

Сергей Николаевич Булгаков скончался в Париже в 1944 г. и был похоронен на известном русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

**Борис Константинович Зайцев:  
«Да не потонет личность  
человеческая в движениях народных!»**

Историки отечественного либерализма часто воздерживаются включать в русскую либеральную традицию великих интеллектуалов более художественного, чем политического склада. Однако не побоялись же такие корифеи отечественной мысли, как Петр Струве и Семен Франк, ярко и убедительно писать о «консервативном либерализме» А.С. Пушкина!

Орловская земля в этом смысле родила по крайней мере двух выдающихся русских писателей-либералов – Ивана Тургенева и Бориса Зайцева. Характерно, что сам Борис Константинович Зайцев остро чувствовал свое художественное, и шире – интеллектуальное сродство с земляком Тургеневым

Борис Зайцев родился в Орле 10 февраля 1881 г. (по н.ст.) в семье дворянина – директора металлических заводов Гужона. Отец стремился дать ему высшее техническое образование, но юный Борис Зайцев так и не окончил ни Московское техническое училище, ни Санкт-Петербургский горный институт. Быстро освободившись от искушения победить очевидные несправедливости жизни революционным заговорщичеством (Зайцев-студент одно время был близок к эсерам), Борис Константинович рано решил посвятить себя литературе, пестуя свое «пространство культуры» – полное, самостоятельное и, как ему казалось, неуязвимое для поползновений политики в любой ее форме.

В первые годы двадцатого столетия недоучившийся студент и начинающий литератор Борис Зайцев с головой окунулся в мир литературной богемы. Позднее в эмиграции он признается, что окружавшие его тогда писатели, художники и, конечно, он сам мало отдавали себе отчет об истинном состоянии России. Увлеченные интенсивностью жизни («сколько бурь, споров, ссор, примирений!»), люди его поколения и круга не смогли, например, распознать великий, но и трагический феномен т.н. «русского Ренессанса», частью которого сами явились: «Россия, несмотря на явно неудачное правительство, росла бурно и пышно, тая все же в себе отраву... Некоторые называли даже начало века "русским Ренессансом". Преувеличенно, и не нес ренессанс этот в корнях своих здоровья – напротив, зерно болезни... Материально Россия неслась все вперед, но

моральной устойчивости никакой, дух сомнения и уныния овладевал».

Большое значение в становлении литературного таланта Бориса Зайцева имело его приобщение к европейской культуре, и, в первую очередь, – к культуре Италии. В 1904 г. он вместе с женой Верой Алексеевной (дочерью А.В. Орешникова, хранителя Исторического музея) впервые побывал во Флоренции – городе, ставшем, по собственному признанию, его «второй родиной». Тогда же, во Флоренции, он выбрал себе на всю жизнь духовного водителя – им стал гениальный поэт и несчастный скиталец Данте Алигьери. Зайцев позднее вспоминал: «Началось с Флоренции 1904 года, первой встречи с Италией. Собственно, я тогда почти ничего не знал о ней. Но как город этот сразу ударил и овладел, так и семисотлетний его гражданин Данте Алигьери Флорентиец. Не могу точно вспомнить, но, наверное знаю, что он поразил сразу – профилем ли, своей легендой, неким веянием над городом. Началась болезнь, называемая любовью к Италии, несколько позже и к самому Данте».

В годы литературной молодости, отвечая на вопросник для известного биографического словаря С.А. Венгерова, Зайцев счел важным отдельно отметить: «Не могу не прибавить, что одним из крупнейших фактов духовного развития были путешествия в Италию и страстная любовь к итальянскому искусству, природе и *городу Флоренции*. Не боясь преувеличить, автор этих строк мог бы сказать, что имеет две родины, и какая ему дороже, определить трудно». Это ощущение Борис Зайцев пронес через всю свою долгую жизнь. Спустя более чем полвека, незадолго до смерти он напишет: «Если бы я верил в перевоплощение, то утверждал бы, что во Флоренции когда-то жил, и Данте был чуть ли не моим соседом».

В первые два десятилетия XX в. именно Флоренция стала главным объектом массового «культурного паломничества» в среде русской интеллигенции. В Петербурге зачинателем этой традиции принято считать блестящего историка и педагога Ивана Михайловича Гревса; его преклонение перед Флоренцией разделили затем его ученики – такие корифеи русской мысли, как Лев Платонович Карсавин, Георгий Петрович Федотов, Владимир Васильевич Вейдле.

А в Москве «первым флорентийцем» стал Борис Зайцев, который быстро втянул в эту орбиту такую новую звезду, как Павел Павлович Муратов – автор ставших потом культовыми для интеллигенции «Образов Италии» – книги, которую он посвятил Зайцеву. В числе «новообращенных» оказались в 1910-х гг. и мои родные дед и бабушка – присяжный поверенный и знаток театра Сергей



Георгиевич Кара-Мурза и его жена – Мария Алексеевна, урожденная Головкина. Путевой дневник деда за 1913 г. свидетельствует: настольными книжками в их итальянском турне по стандартному для «русских пилигримов» маршруту «Венеция – Падуя – Флоренция – Рим – Неаполь» были сочинения Зайцева и Муратова – близких знакомцев по московским литературно-художественным салонам...

Сам Борис Зайцев неоднократно писал о той «почти религиозной роли», которую Италия сыграла в жизни его, Муратова и других людей их круга: «Мы любили свет, красоту, поэзию и простоту этой страны, детскость ее народа, ее великую и благодатную роль в культуре. То, что давала она в искусстве и в поэзии, означало, что есть высший мир. Через Италию шло откровение творчества». Можно сказать, что Борис Зайцев стал одним из интеллектуальных лидеров процесса, важного для русского «Серебряного века», – во многом спонтанного, но со временем все более акцентированного. Это характерный процесс размежевания двух пространств – «пространства власти» и «пространства культуры», создающегося в значительной степени переживаниями «паломничеств» в Европу. То было движение, однозначно плодотворное для самоопределения русской культуры, но весьма неоднозначное для российской политики. Ведь значительная часть творческих сил периодически (и иногда надолго) как бы самоустранялась с арены политики, оставляя «один на один» официальное охранительство и нарастающий русский радикализм, другими словами, – Реакцию и Революцию.

Впрочем, было бы ошибкой говорить, что «образы Европы» (и конкретно Италии) были обречены на выстраивание в русском интеллигентском сознании «чистого пространства культуры». Параллельно этому в русском зарубежье конца XIX-начала XX вв. активно формировалось и свое диссидентское «пространство власти» – как политической альтернативы наличному русскому режиму. Если говорить конкретно об Италии, то ограничимся хотя бы примером «русского Капри», где в числе эмигрантов (от Плеханова до Чернова) перебивали целых четыре будущих большевистских наркома – В.И. Ленин, Ф.Э. Дзержинский, А.В. Луначарский, Л.Б. Красин. Здесь важно другое: это альтернативное русское «политическое пространство» пребывало и развивалось синхронно с итальянскими культурными паломничествами Зайцева, Муратова и других «русских культурников». Кстати, и Зайцев, и Муратов, судя по всему, заметно недолюбливали Капри – и это несмотря на фантастическую красоту этого места. Почти наверняка – именно из-за риска столкнуться с политизированными русскими: этой «политики», по-

чему-то всегда тяготеющей к нетерпимости, им хватало и на родине.

В своем личном поиске предреволюционных лет, в своем разграничении пространств «власти» и «культуры», Борис Зайцев был предельно логичен и последователен: он предпочитает официозному Петербургу провинциальную Москву, а петербургской сановной политике – культуру «прекрасной Италии». Характерно, что в самой Италии он явно отдает предпочтение «родине творчества» Флоренции – перед Римом с его застывшим духом имперского величия. Но и в самом Риме для него не все однозначно: он явно предпочитает демократический Форум («светлый и дневной») – имперскому Палатину («темному и ночному»). Двигает Зайцевым, судя по всему, не просто нелюбовь к политике – когда надо было отстаивать свою общественную позицию, он делал это с редкой для интеллигента твердостью. Для Зайцева «политика» и «культура» – метафизически разнородные субстанции. Первая, – как правило, – нивелировка, усреднение, забалтывание и омертвление смыслов. Вторая, напротив, – созидание, творчество, жизнь.

При всем при этом Борис Зайцев – очевидно не интеллектуальный сноб и не воинствующий эстет. Его не интересуют искусственные сгущения «дистиллированной культуры»; он ищет реальных полнокровных проявлений культуры победившей и побеждающей. В России он видит прямо обратное: победу над творчеством и культурой «идеи власти» в разных ее ипостасях. В Италии, и в первую очередь во Флоренции, его особенно увлекает то обстоятельство, что здесь «идея культуры» оказалась настолько сильна, горда и независима, что великодушно приняла и вместила и саму политику – когда-то, между прочим, предельно «темную», кровавую и тираническую.

Поразительно глубоки и интересны рассуждения Бориса Зайцева о культовом для флорентийцев месте сожжения диктатора Джироламо Савонаролы на площади Синьории. «Не раз бывало во Флоренции: был властелин, завтра растерзан. Но ныне огромная медаль выбита там (на месте казни Савонаролы. – А.К.), и в день годовщины, в середине мая, груды венков и цветов утишают боль этого сердца; дивные розы Флоренции и Фьезоле окаймляют его носатый профиль; профиль того, кто при жизни топтал их, но велико погиб и вызвал удивление и восторг веков».

Да, Савонарола был жестоким тираном, но так велика культурная сила Флоренции, что она и его (человека все-таки искреннего и верного гражданина города) готова взять под свое покровительство. Вот это особо поражает Зайцева: величие и великодушие

культуры, способной принять политику как свою законную (пусть и не самую рафинированную) часть. Во Флоренции политический изгнанник Данте стал со временем символом величия города. Данте парадоксальным образом приютил казненного Савонаролу под свою опеку – и тем самым победил его. «Казнь», которую так возненавидел одиннадцатилетний калужский гимназист Борис Зайцев, оказалось возможным победить – победить культурой.

Данте и Савонарола равно ушли в бессмертие – эту возможность и привилегию подарил им породивший их город. Флоренция для Зайцева – символ общеродового торжества человечества над смертью. Его любимое место во Флоренции – маленькое кладбище рядом с монастырем Сан-Миниато – там он всякий раз проводил вечер перед отъездом из любимого города: «Черные кипарисы, мрамор, решетки, гробницы, золотые надписи, часто ангелы крылатые изображены – и все это навсегда спит, но *над* её бессмертным телом. И цветут каждую весну розы на могилах, умирая сами; и дамы в трауре приезжают сюда, и плачут под этими кипарисами. В светлом вечере звонит колокол San-Miniato, а она все лежит там у себя, туманеет вечерней дымкой, и вечно юны и древни эти острые колоколенки. Да, там жили, думали, творили, пламенели и сгорали тысячи душ; длинными рядами шествуют они со времен Данте. Все навсегда ушли отсюда. Но всегда живы, и как в дивную корону вставили сюда свои алмазы... Скоро будет Флоренция засыпать; но наутро пробудится – как раньше, вечная и мудрая, легкая, бессмертная и стройная».

В разгар первой мировой войны Зайцев, по совету Павла Муратова, начал работу над ритмическим переводом «Ада» из «Божественной комедии» Данте. К этому переводу он будет возвращаться в самые тяжелые годы своей жизни и окончательно завершит работу только в глубокой старости: «Дважды приходилось бросать все, скрываться на время, но на столе все стоял белый гипсовый Данте, все смотрел безучастно-сурово, с профилем своим знаменитым, во флорентийском колпаке, на возню дальнего потомка русского вокруг его текста».

Летом 1916 г. тридцатипятилетний Борис Зайцев («ратник ополчения второго разряда») был призван в армию, а в декабре стал юнкером ускоренного выпуска Александровского военного училища. В июле 1917 г. артиллерийский прапорщик Зайцев, тяжело заболевший пневмонией, получил отпуск и приехал для лечения в имение отца Притыкино (Каширского уезда Тульской губернии). Именно там он с опозданием узнал о большевистском перевороте:

«Мне не дано было ни видеть его, ни драться за свою Москву на стороне белых».

Понятно и отношение Бориса Зайцева к большевистскому перевороту: он воспринял его как тотальную победу в России «идеи власти» над «идеей культуры». Но то, как остающийся пока в России Зайцев защищал этот сильно сократившийся плацдарм культуры в окружении наступающего пространства новой власти, заслуживает уважения и восхищения.

Уже в ноябре 1917 г. Борис Зайцев, один из самых авторитетных русских писателей, активно включился в общественную и литературную жизнь Москвы. Ему особенно претили покушения отечественных «савонарол» на свободу мысли и слова. В те дни он писал в газете Клуба московских писателей: «Гнет душит свободное слово. Старая, старая история... Жить же, мыслить, писать будем по-прежнему. Некого нам бояться – служителям слова. Нас же поклонники тюрем всегда боялись. Ибо от них и их жалких дел останется пепел. Но бессмертно слово. И осуждает. Ни сломить, ни запугать его нельзя». А 16 ноября 1917 г. Зайцев публикует получившее широчайшую известность «Открытое письмо» наркому Луначарскому, с которым некогда приятельствовал во время итальянских путешествий (в 1907 г. они даже жили во Флоренции в одном отеле – «Итальянской короне», неподалеку от знаменитой церкви Сан-Лоренцо).

Письмо литератора-либерала Зайцева стало своего рода манифестом о необходимости решительного размежевания русской культуры и большевистской диктатуры: «Милостивый государь Анатолий Васильевич! В мае 1907 г. во Флоренции нам приходилось встречаться довольно часто, вместе бродить по городу, который вы любили, беседовать об итальянских художниках... Прошло десять лет. Ныне, игрой фатальных общественных обстоятельств, вы сделались "министром"... Вы не протестовали против цензуры социалистических газет, против принятого центральным комитетом вашей партии решения о закрытии всех "буржуазных" газет – вы, русский писатель!... Остается предположить, что в вас есть черты, которых я не замечал, прискорбные черты нравственной одичалости. Всякой снисходительности пределы есть. Нельзя быть писателем и дружить с полицейскими. Сколь ни печально и ни тяжело это, все же должен признать, что с такими "литераторами", как вы, мы, настоящие русские писатели, годами работающие под стягом искусства, просвещения, поэзии, – общего ничего иметь не можем».

Революционные и первые послереволюционные годы были драматическими для Зайцева. В Февральскую революцию был растер-

зан бесчинствующей толпой его племянник Юрий Буйневич – офицер Измайловского гвардейского полка. Через два года умер отец. Чекистами был арестован и расстрелян его пасынок Алексей Буйнов. В первые послереволюционные годы ушли из жизни друзья Зайцева – Л. Андреев, С. Глаголь, Ю. Бунин, В. Розанов, А. Блок. Зайцев вспоминал о том времени: «Убогий быт Москвы, разобранные заборы, тропинки через целые кварталы, люди с салазками, очереди к пайкам, примус, пшенка без масла и сахара, на которую и взглянуть мерзко. Именно вот тогда я довольно много читал Петрарку, том "Canzoniere" в белом пергаментном корешке, который купил некогда во Флоренции, на площади Сан-Лоренцо... Думал ли я, что эта книга будет меня согревать в дни господства того Луначарского, с которым во Флоренции мы по-богемски жили, пили кьянти и рассуждали о Боттичелли? Да, но тогда времена были в некотором смысле младенческие...»

Именно в те годы «русский флорентиец» Борис Зайцев во всей полноте проявил во многом потаенные до времени свойства своей натуры, которые позволили ему стать безоговорочным лидером свободной русской литературы – сначала в большевистской Москве, а потом и в эмиграции. В 1921 г., когда избирали Председателя Союза писателей, большевистские «кураторы» всю лоббировали кандидатуру Максима Горького, но тайным голосованием Правления (всеми голосами против одного) был избран Зайцев. Его заместителями стали Николай Бердяев и Михаил Осоргин.

Постепенно открытая политическая борьба в Советской России становилась все менее возможной, но какое-то время можно было еще находить и удерживать отдельные анклав культуры. Борис Зайцев написал в те первые послереволюционные годы свои знаменитые очерки о городах Италии. В предисловии к этой книге есть характерные слова: «В самый разгар террора, крови автор уходит, отходит от окружающего – сознательно это не делалось, это просто некоторая «evasion» (бегство), вызванная таким "реализмом" вокруг, от которого надо было куда-то спастись».

В своих «итальянских очерках», написанных вдали от Италии, Зайцев противопоставляет темноте и тлену окружающей его советской повседневности светлую гармонию бессмертной Флоренции: «Есть в ней нечто от древней, бессмертной гармонии, где все на месте, все нужно и в мудром сочетании принимает побудительный, неуязвимый оттенок. Таково впечатление: *тлен* не может коснуться этого города, ибо какая-то нетленная, объединяющая идея воплотилась в нем и несет жизнь. Называли Флоренцию Афинами; это понятно и верно, это сродно самим богам ионическим, эллинской

кругообразности, светлости мрамора; только плюс христианство, которым многое *ещё* осветлено, еще оласковлено».

Очерки, написанные в Притыкино зимой 1918-1919 гг., имели немного шансов быть опубликованными в России. Но для Зайцева не это было главным. «Я кончаю свою итальянскую книжку, – писал он весной 1919 г. И.А. Новикову. – Она поддерживала меня этой ужасною зимой; в ее мире светлом я сколько-нибудь мог дышать... Но когда все это *выйдет*? Через 3-5 лет? "Посмертными произведениями"? Все равно. Это сейчас жизнь моя. Еще привожу в культурный вид малинник. Этим делом занимался и Ариосто, которого читаю, и нахожу, что он на меня похож. Хороший был писатель, дай Бог ему Царства Небесного».

Позднее, уже в эмиграции, Зайцев вспоминал об одном случае, как он в мае 1919 г. читал в саду интеллигентского особняка в центре Москвы главы из своей работы о Рафаэле: «Я читал за столом, вынесенном из дома под зеленую сень, в оазисе среди полуразоренной и полуголодной Москвы, в остатке еще человеческой жизни, среди десятка людей элиты – слушателями были, кроме хозяйки, Вячеслав Иванов, Бердяев, Георгий Чулков. Помню, когда я закончил, солнце садилось за Смоленским бульваром... Помню удивительное ощущение разницы двух миров – нашего, с этим золотящимся солнцем, и другого».

В апреле 1918 г. в Москве был создан Институт итальянской культуры – «Studio Italiano», основателями которого были работавший в библиотеке Румянцевского музея итальянец Одоардо Кампо и Павел Муратов. Кружок стал бесценным пристанищем высокой культуры в большевистской Москве. Зайцев с первых же дней стал активным участником институтских сессий и неоднократно выступал там с докладами на итальянские темы. О подготовке к одной из таких лекций (посвященной все тому же Данте Алигьери) Зайцев вспоминал: «Итак, иду читать. Для этого надо бы купить манжеты, неудобно иначе. Захожу в магазин. В кармане четыре миллиона. Манжеты стоят четыре с половиною. Ну, почитаем и без манжет...»

А вот еще одна грань жизни Бориса Зайцева того времени: вместе с Осоргиным, М. Линдом, Бердяевым, Б. Грифцовым, М. Дживелеговым он приобщается к работе т.н. «Книжной лавки писателей» – букинистического магазина, еще одного островка культуры посреди тусклой и холодной Москвы. Зайцев вспоминал: «Огромная наша витрина на Большой Никитской имела приятный вид: мы постоянно наблюдали, чтобы книжки были хорошо разложены. Их набралось порядочно. Блоковско-меланхолические девицы, спецы или просто ушастые шапки останавливались перед выставкой, раз-

глядывали наши сокровища, а то и самих нас... Летом над зеркальным окном спускали маркизу, и легонькие барышни смотрели подолгу, задумчиво, на нашу витрину. С улицы иногда влетала пыль». Бывало, что литераторы-компаньоны переписывали собственные сочинения от руки, переплетали и даже сами иллюстрировали обложки. Уже в эмиграции Зайцев как-то припомнил, что за изготовленный им таким образом сборничек итальянских эссе он получил «аж 15 тысяч рублей (фунт масла)».

Наблюдения над большевистской повседневностью, размышления о драматической судьбе России снова и снова выводили мысли Зайцева к теме любимого им Данте. Он всерьез задавался вопросом, как бы отнесся флорентийский поэт-изгнанник к новейшим катаклизмам, переживаемым человечеством? Что бы его поразило, а к чему бы он отнесся печально-равнодушно? «Борьба классов, диктатура, казни, насилия – вряд ли бы остановили внимание (Данте. – А.К.), – рассуждал Зайцев. – Флоренция его века знала *rolo grasso* (буржуазия) и *rolo minuto* (пролетариат) и их вражду. Борьба тоже бывала не из легких. Тоже жгли, грабили и резали. Тоже друг друга усмиряли...» (Тут Зайцев с усмешкой вспомнил, как во Флоренции ему показали старинный дом, где в XIV в. располагался штаб плебейского восстания «чомпи» – «первый Совет рабочих депутатов»). Другое дело, что «Данте не знал "техники" нашего века, его изумили бы автомобили, авиация...» Но, главное, «удивила бы открытость и развязность богохульства... Некрасота, грубость, убожество Москвы революционной изумили бы флорентийца. Вши, мешочники, мерзлый картофель, слякоть... И люди! Самый наш облик, полумонгольские лица...» «Данте был флорентийский дворянин, – подытоживает Зайцев. – Он ненавидел "подлое", плебейское, в каком бы виде ни являлось оно. Много натерпелся от хамства разжиревших маленьких "царьков" Италии. Не меньше презирал и демагогов. Что стало бы с ним, если бы пришлось ему увидеть нового "царя" скифской земли – с калмыцкими глазами, взглядом зверя, упряма и сумасшедшего? Дантовский профиль на бесчисленных медалях, памятниках, барельефах треснул бы от возмущения...»

Поразительно, но время показало, что до поры предельно аполитичный литератор Зайцев, обожатель Италии и апологет высокой культуры, на всех жизненных развилках занимал принципиальную политическую позицию. В 1921 г., вопреки интригам некоторого количества большевистствующих литераторов, Зайцев был подавляющим большинством голосов избран председателем московского Союза писателей. Летом того же года он вошел во «Все-

российский комитет помощи голодающим» (Помгол). Через несколько недель был арестован ВЧК по обвинению в «антисоветской деятельности» (вместе с Осоргиным, Муратовым и др.), но вскоре выпущен. Для развлечения себя и других Зайцев и другие заключенные читали в лубянской камере друг другу лекции на темы литературы и искусства. В мемуарной новелле с ироническим названием «Сидим» Зайцев вспоминал: «Было утро, солнечный день. Я говорил о русской литературе, как вдруг в камеру довольно бурно и начальственно вошло двое чекистов. В руке одного была бумажка. По ней он так же громко и бесцеремонно, прерывая меня, прочел, что я и Муратов свободны, можем уходить... Но, вероятно, подсознанию не понравилось вторжение "постороннего тела", да еще грубоватого, прерывающего меня, я ответил почти недовольно: "Ну да, вот кончу сперва лекцию..."»

А потом пришло «знамение свыше», подтвердившее, что в момент жизненного выбора он, русский литератор Борис Зайцев, нашел единственно верный путь культурного самостояния. Весной 1922 г. писатель тяжело заболел в Москве сыпным тифом; двенадцать суток находился без сознания – врачи считали положение безнадежным. Дочь Зайцевых, Наталья Зайцева-Соллогуб, вспоминала: «Мама беспрестанно молилась. В страшную тринадцатую ночь она положила папе на грудь иконку Св. Николая Чудотворца, которого особенно чтит, и просила Господа о спасении папы. Произошло невероятное: утром к нему вернулось сознание...»

Выживать людям с такой репутацией и такого масштаба, как Борис Зайцев, в Совдепии становилось все менее возможным. «Пространство власти» исторгало из себя неугодных. Оставалось по сути два выхода: добровольный или принудительный отъезд из страны. Летом 1922 г. Зайцев с женой и десятилетней дочерью Натальей выехал за границу. Официально – «для лечения», но, как оказалось, навсегда. В мемуарном очерке «Москва сегодняшняя» Зайцев вспоминал: «Март двадцать второго года – тяжелая болезнь, едва не уложившая. Бритая голова, аппетит, выздоровление, – апрель. Май – пыль на московских улицах, бесконечные обивания порогов в комиссариатах... Стараемся держаться крепко, бодро: уезжаем на год, самое большое на полтора. Дела в России идут лучше, НЭП приведет все к "естественному состоянию"; одолеют свобода и здравый смысл. Мы и вернемся: подлечимся, побываем в Италии, да и домой... Разгромленная комната, где я умирал, чемоданы, извозчики, медленная езда через всю Москву, на Виндавский вокзал... В этот день судят эсеров. Толпа перед бывшим Дво-



рянским Собранием. Манифестации ходят по улицам – требуют кровушки. Печально покидаем мы Москву...»

После лечения в Германии Зайцев осенью 1923 г. провел три месяца в Италии: группа русских лекторов-эмигрантов (в нее кроме Зайцева входили также Бердяев, Муратов, Осоргин, С. Франк, Б. Вышеславцев и др.) была приглашена в Рим славистом Этторе Ло Гатто. Встретились русские изгнанники, люди «одной крови». Зайцев до конца жизни вспоминал это «эмигрантское братство»: «Мы были пришельцами из загадочной страны. Наша жизнь в революцию для них (слушателей) фантастична. Голод и холод, чтения в шубах об Италии (Studio Italiano Муратова), торговля наша в лавках писателей, книжки, от руки писанные за отсутствием (для нас) книгопечатания, наши пайки, салазки, на которых мы возили муку, сахар, баранину академического пайка – все это воспринималось здесь как быт осады Рима при Веллизарии...»

Ситуация в России не позволила Зайцевым вернуться в Россию. Не реализовались и их планы обосноваться в любимой Италии – помешала муссолиниевская диктатура. Неожиданно для многих, Италию, казалось бы, уже победившего Данте, сменил режим «нового Савонаролы». Вспоминая Италию 1923 г., Зайцев в очерке «Латинское небо» написал об итальянских фашистах: «На родине мы навидались товарищей. Эти – тоже товарищи, только навыворот...» И перед новым, 1923-м г., Зайцев покинул Италию и уехал во Францию.

В 1926 г. разошелся Борис Зайцев и с Максимом Горьким, которому когда-то симпатизировал: они (как ранее в случае с Луначарским) оказались все-таки принадлежащими к разным «пространствам». Поводом к интеллектуальному разрыву стал некролог Горького на смерть Феликса Дзержинского, в котором «совершенно ошеломленный» Горький вспоминал о «душевной чуткости и справедливости» умершего. «Ошеломленный», в свою очередь Зайцев не поскупился на оценки коллеги-литератора, теперь уже «бывшего»: «Двусмысленный, мутный и грубый человек, очень хитрый и лживый», «при случае он отречется от своих слов, если это выгодно». И вывод: «Грустно одно, что друг палачей, восхвалитель Лениных и Дзержинских, разбогатевший пролетарий и человек весьма темной репутации, грязнит собою русскую – *русскую!* литературу. Грустно, что этот недостойный литератор в глазах Европы и прочих стран является каким-то претендентом на литературный русский трон. А между тем, надо сказать прямо: письмо о Дзержинском есть основание, чтобы поднять вопрос: да можно ли вообще считать такого человека "в ограде литературы"? Ведь и Менжинский литера-

тор, если не ошибаюсь, даже беллетрист! А, может быть, и сам покойник (Дзержинский) писал сентиментальные стишки? Нельзя никому запретить быть мерзавцем. Но в целях ясности следовало бы точнее разграничиться: писатели, скажем, составляют свой союз, спекулянты свой, чекисты – тоже свой».

Эмиграция оказалась для Бориса Зайцева плодотворной в творческом отношении. Он написал несколько романов, беллетризованные биографии Жуковского, Ивана Тургенева, Чехова, большое количество рассказов и мемуарных очерков. В годы второй мировой войны, в оккупированном немцами Париже, он снова возвращается к переводу «Ада» Данте. Во время англо-американских бомбежек летом 1943 г. Зайцев всякий раз брал драгоценные рукописи в бомбоубежище: «Когда сирены начинают выть, рукопись забирается, сходит вниз, в подвалы... Ну что же, "Ад" в ад и опускается, это естественно. Минотавров, Харонов здесь нет, но подземелье, глухие взрывы, сотрясение дома и ряды грешников, ожидающих участи своей, – все, как полагается. С правой руки жена, в левой "Божественная комедия", и опять тот, невидимый, многовековой и гигантский, спускается с нами в бездны, ему знакомые. Но он держит... Все это видел, прошел и вышел...»

В годы эмиграции Борис Зайцев, никогда не нарушая бесконечно ценимой им «мистической связи» с Данте, неоднократно пытался ответить на вопрос, который он считал едва не решающим. А кто в русской культуре мог бы стать аналогом флорентийца Данте, быть символом борьбы русского национального жизнотворчества против косности и гниения? Всякий раз мысль закономерно приводила литератора-эмигранта к Александру Сергеевичу Пушкину, которому Зайцев посвятил ряд глубоких текстов. В статье «Пушкин в нашей душе» (написана в 1924 г.; издана в 1925 г.) Зайцев обращает внимание на знаменательный факт: в «канунной России», на пороге испытаний войнами и революциями, в русской литературе обострилась борьба за интерпретацию пушкинского наследия. Одним из главных защитников Пушкина выступил русский символизм, в котором «жила традиция большой духовной культуры, и была она во многом пушкинскому времени созвучна». Напротив, «восставший на Пушкина» футуризм был, согласно Зайцеву, «ранним сигналом того мрачно-грубого и механически спортивного, что дало "великую" войну и "великую" революцию». Эта «схватка за Пушкина», первоначально пребывавшая в «пространстве культуры», но выплеснувшаяся затем в политику, была естественна и характерна: «Как станут дружить духи тления с духами жизни? Пушкин – поэзия, и об-

легченность и улыбка, космос; футуризм – развал и гибель... Кто за Пушкина, нельзя быть с мертвецами и слепыми».

«Погрубение» (выражение Зайцева) сначала литературы, а потом и «всей жизни» обозначило сначала литературную, а потом и политическую победу «футуризма». «Мы в нем и посейчас, – констатирует Зайцев. – Если под современностью разуметь аэропланы, бокс, кинематограф, спортивные романы, комсомольство и тому подобное, то ясно, что такая современность должна Пушкина отбросить. Поэзии с наглежащей материей не по дороге... Натурам более глубоким снова придется спускаться в катакомбы».

Характерно, что Зайцев все время поверяет значение Пушкина своим итальянским опытом. Пушкин, как ранее Данте и Флоренция, становятся для Зайцева камертоном культуры и залогом ее будущей победы: «Кто с Пушкиным дружит, тому стыдно писать плохо, вот так возбуждающе-оздоровляюще он действует на артиста. Противоядие всякой растрепанности и неряшливости, преувеличенно, болтовне нервической. Смерть провинциализму, доморощенности. Пушкин обязывает, и в его присутствии, как во Флоренции перед Palazzo Vecchio... неловко писать под Демьяна Бедного». Пушкин, по мысли Зайцева, становится для России тем, кем был Данте для объединяющейся Италии: «Пушкин, думаю, для всех сейчас – лучшее откровение России. Не России старой или новой: *истинной*. Когда Италия объединялась, Данте был знаменем национальным. Теперь, когда России предстоит трудная и долгая борьба за человека, его вольность и достоинство, имя Пушкина приобретает силу знамени».

...Бориса Зайцева принято считать крупнейшим русским религиозным писателем. Это, безусловно верно. Будучи несомненно искренне верующим христианином, Зайцев был и до конца жизни остался христианским либералом. Взыскуемая им «христианская общность» не была безличностной корпорацией, нивелирующей и растворяющей в себе человеческие индивидуальности. Подобно позднему Герцену, Зайцев, судя по всему, мечтал о такой христианской общности, в которой, напротив, Личность способна была найти наивысшее выражение. Девизом Зайцева был сформулированный им самим тезис: «Да не потонет личность человеческая в движениях народных!» Вот что написал, например, Зайцев после кончины своего друга и коллеги Вячеслава Иванова (в 1948 г., за несколько месяцев до смерти Иванова, Зайцев с женой сумели навестить его в Риме): «Был он представителем особенным, культурой даже перегруженным, довоенной России в литературе: поэт, ученый, утонченнейший стилист и провозвестник не индивидуализ-

ма самозаключенного, а "органической эпохи", "соборности" – вот о чем мечтал, живя в России, несшейся неудержимо к такой "соборности", от которой сам он в некий срок на всех парах выплыл в Италию».

Важно учитывать также, что источником религиозности в творчестве Зайцева во многом также стала... Италия. Прорыв италофила Зайцева к образу Святой Руси в эмиграции не был внезапным и одномоментным. Представляется, что важнейшим мостиком в религиозном обновлении писателя стали размышления об итальянском городке Ассизи – родине св. Франциска. Когда-то, во время одного из своих итальянских паломничеств, Борис Константинович вместе с Верой Алексеевной посетили по дороге из Римини в Перуджу этот умбрийский городок и оценили его потаенно-мистическую суть.

В сборнике итальянских очерков, написанном холодной после-революционной зимой 1918 г. в Притыкине, главка «Ассизи» стоит особняком, выделяясь особо интимным, сокровенным тоном: «Это была страна Святого, безбрежная и кроткая тишина, что составляет душу Ассизи, что вводит весь строй в ту ясность, легкость и плавучесть, когда уходят чувства мелкие и колющие – дальше становится своим, любимым. Да, позабудешь все тревоги, огорчения, надломы, только смотришь, смотришь! С этой минуты, открывшей мне Ассизи, я его полюбил навсегда, без оговорок, без ограничений...» Текст очерка показывает, что автор по-прежнему весь находится во власти Данте, и автор не может отрешиться от этой мистической связи даже рядом с католической святыней – могилой св. Франциска: «И лишь Данте недостает в S. Francesco, чтобы дать полное созвучие *мистического средневекового* Италии». Зайцев не удерживается и от ссылки на слова из «Божественной комедии» Данте, где высоко ценивший св. Франциска флорентийский поэт-изгнанник уподобляет Ассизи «Востоку», «откуда солнце некое взошло над миром». Однако «притыкинский» очерк об Ассизи уже не просто конструирует мыслительное «пространство культуры», но повествует о целой гармоничной «мистической стране». В очерке «Ассизи» автор вспоминает, как обозревал долину Умбрии с террасы отеля «Джотто»: «Невидимо идет время, очень легко, светло, но это вообще свойство Ассизи – давать жизни какую-то музыкальную, мечтательную прозрачность. Поистине дух монастыря, самого возвышенного и чистого, сохранялся здесь. Кажется, тут трудно гневаться, ненавидеть, делать зло. Здесь нет богатого красками, яркого зрелища жизни. Тут если жить – то именно как в монастыре: трудясь над ясною, далекой от земной суеты работой, посещая

службы, совершая прогулки по благословенным окрестностям. И тогда Ангел тишины окончательно сойдет в Душу, даст ей нужное спокойствие и чистоту».

Более того, Ассизи – «Страна Святого» – видится Зайцеву некоторой «социальной идиллией», порождающей и удерживающей особый человеческий тип – не элитарно-богемный, а вполне «массовый», особенно притягательный для Зайцева в переживаемый им период русской катастрофы: «Встречаешь по дороге крестьян, возвращающихся с работы. Они имеют утомленный вид, но с отпечатком того изящества и благородства, какой покоится на земледельце Италии. Почти все они кланяются. Я не вижу в этом отголоска рабства и боязни. Некого здесь бояться; и не перед скромным пилигримом, странником по святым местам унижаться гражданину Умбрии. Мне казалось, что просто это дружественное приветствие, символ того, что в стране Франциска люди друг другу братья». И, наконец, итоговый вывод: «Хорошо жить в Ассизи. Смерть грозна, и страшна везде для человека, но в Ассизи принимает очертания особые – как бы легкой, радужной арки в Вечность».

К теме «Ассизи - Святой земли» Борис Зайцев возвратился затем в эмиграции. Однажды на его парижский адрес пришло письмо от некоего русского певца, который в составе русского вокального квартета выступал в Перудже (столицы Умбрии) с русскими церковными песнопениями (в письме перечислялось: «"Отче наш" знаменного распева, "Свете тихий" киевского, "Пасхальные песнопения" валаамского» и т.д.). Зайцев был обрадован и потрясен – его корреспондент, очевидно, был в курсе италофильских пристрастий русского писателя: «К нам доходил и доходит, и будет доходить несмотря ни на что, свет их Франциска. Но вот и они слушали сначала со вниманием просто, а потом с умилением, а в конце и с восторгом – с итальянской горячностью выразившимся – слушали наши напевы, голос русской религиозной души (и русского понимания красоты)... Вот, значит, в Перуджии, рядом с Ассизи, смиренно показывали наши певцы Русь Италии. Да, пора, пора! И настоящую. И в тишине. Слишком привыкли мы за последнее время к шуму, самовосхвалению. Бахвальство утомительно, невыносимо. Да к земле святого из Ассизи вовсе не идет». Зайцев далее полностью соглашается со словами из итальянской газетной рецензии, приложенной к письму: «Какая страна, кроме Умбрии наших святых, могла бы лучше понять музыку, столь глубоко мистическую?»

Зайцев тогда снова вспомнил о старой поездке: «Вечером, на заре, выходя из Ассизи на прогулку, проходили мы тихими дорогами, среди виноградников, яблонь, оливок, при мелодическом пере-

звоне колоколов. И когда встречали крестьян, было такое чувство, что и эти простые, трудолюбивые люди, правда, ведь они братья наши, хоть и верим на разных языках, да и вера не совсем одна. И почтительно друг с другом раскланивались. Да, радостно узнать, что край святого все такой же, как и надо, и душа его отзывается голосу Руси вечной».

Без учета работ Бориса Зайцева об Ассизи и св. Франциске невозможно понять его позднейшие «паломнические очерки» о посещении православных святынь Афона и Валаама, его знаменитую работу о св. Сергии Радонежском и т.д.

Вера Алексеевна Зайцева скончалась в Париже в 1965 г. В течение восьми последних лет она была разбита параличом – духовной опорой Зайцевым в те годы служили воспоминания о совместных поездках в Италию...

Борис Константинович прожил еще семь лет. За несколько месяцев до смерти произошла трагикомическая история с визитом в Париж Леонида Брежнева. Советское посольство настояло тогда перед французскими властями на необходимости максимально оградить высокого гостя от возможных провокаций со стороны... русских эмигрантов. Десятки русских были временно выселены из Парижа, а 90-летнего Зайцева было решено интернировать в его собственной квартире под присмотром полиции. Сам Борис Константинович потом много потешался над этим случаем, подтверждая, что большевистские власти далекой России не только помнят о нем, но и побаиваются его авторитета и влияния.

В конце жизни Борис Зайцев, в течение последних двадцати пяти лет своей жизни бывший бессменным председателем Союза русских писателей за рубежом, поместил текст-напутствие русской молодежи в эмигрантском сборнике «Старые – молодым»: «Юноши, девушки России, несите в себе Человека, не угашайте его! Ах, как важно, чтобы Человек, живой, свободный, – то, что называется Личностью, – не умирал... Пусть будущее все более зависит от действий массовых, ...но да не потонет личность человеческая в движениях народных. Вы, молодые, берегите личность, берегите себя, боритесь за это, уважайте образ Божий в себе и других».

Оставаясь лидером русской культуры в эмиграции, Борис Зайцев внимательно следил за тем, что происходит в России. В свое время он дал путевку в литературную жизнь юному Борису Пастернаку, вел переписку с ним, с А.А. Ахматовой, с К.Г. Паустовским. Он не отлучал культуру, оставшуюся под большевиками, от большой русской культуры.

Борис Константинович Зайцев скончался в Париже 28 января 1972 г. Близкие говорили, что он до последних часов сохранял ясность мысли и только перед самым концом впал в полузабытье и ушел, что-то себе напевая... «Я надеюсь. Я в Россию верю. Выберется на вольный путь», – написал он незадолго перед смертью.

**Семен Константинович Живописцев:  
от человека остаются только одни дела его**

Одним из выдающихся представителей орловской интеллигенции второй половины XIX-начала XX вв. является Семен Константинович Живописцев – ветеринар высокой квалификации, активный общественный и политический деятель, либерал. К сожалению, долгое время его имя оставалось в забвении.

Семен Константинович Живописцев родился 27 мая 1859 г. в городе Гомель Могилевской губернии, в семье купца 2-ой гильдии Константина Егоровича Живописцева; белорус по происхождению. В 1883 г. Живописцев окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, получив звание «магистр ветеринарных наук». Тема его дипломной работы – «Добывание оспенной вакцины с телят» – определила его дальнейшую профессиональную деятельность. До переезда в Орел Семен Константинович работал земским ветеринарным врачом в Псковской, Владимирской и Черниговской губерниях, в Мценском и Орловском уездах Орловской губернии. В Орле проживал с 1891 г., около года работал младшим губернским ветеринаром.

Одной из проблем, с которой постоянно сталкивались медицинские учреждения, органы государственной и местной власти в конце XIX-начале XX в., была борьба с эпидемиями и эпизоотиями. Холера, оспа, тиф, сап, сибирская язва уносили множество человеческих жизней, поражали тысячи животных. И это не полный перечень заболеваний, которые были реальной опасностью рубежа веков. Семен Константинович Живописцев внес большой вклад в борьбу с эпидемическими заболеваниями, наладив в г. Орле производство вакцины против оспы. Эта деятельность стала делом всей его жизни, прославив его как талантливого ученого и практика.

В 1887 г. в своей усадьбе, располагавшейся в 72-м квартале 1-ой части города по ул. Кромской (с 1924 г. ул. Комсомольская) в одном из одноэтажных строений, Семен Константинович открыл оспенный телятник по производству детрита – вакцины для прививки против оспы. Его усадьба находилась между переулком Чернышевского (современная 1-ая Посадская ул.) и улицей Большой Мещанской (ныне ул. Розы Люксембург).

По мнению его современника Я. Успенского, лаборатория была устроена «на большие средства, с большим опытом, знанием



дела, телятник г. (господина. – *И.С.*) Живописцева представляет явление исключительное...». Для обустройства лаборатории в Орле и приготовления вакцины Семен Константинович затратил «массу труда и денег, осмотрев выдающиеся телятники в России и за границей» (Финляндия, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, Австрия, Швеция, Венгрия, Франция и Бельгия). Вместе с тем, он внес «много оригинального в устройство своего телятника, ... создал нечто такое, что лучше даже не представляешь».

В усадьбе Семена Константиновича были созданы благоприятные условия для его профессиональной деятельности. Усадьба состояла из восьми строений, пять из которых представляли собой кирпичные дома с пристройками, покрытые железными крышами. Здание, выделенное под оспенный телятник, имело восемь комнат, коридор, кухню, а также печь. Для лаборатории Живописцев привез из-за границы ценное оборудование. При муниципализации домовладения в октябре 1924 г. процент изношенности здания оспенного телятника был небольшим. Он составил всего 30% и был оценен в 4 843 руб. Стоимость всей усадьбы, находившейся в достаточно хорошем состоянии, была определена в 16 414 руб.

Живописцеву принадлежал хутор, названный в его честь. Он находился в Стрелецкой волости Орловского уезда, в 6-ти верстах от Орла, и по площади занимал 47 десятин. В течение 1909-1910 гг. там были построены: дом с кухней и пристройками, сарай для кур, кормовой сарай с конюшней и амбар. Все постройки были деревянными, с железной кровлей. В 1916 г. строения были оценены в значительную для того времени сумму: 12 350 руб. Будучи рачительным и предусмотрительным хозяином, в 1916-1918 гг. Семен Константинович страховал свое имущество практически полностью; страховка составляла 12 070 руб.

На страницах «Трудов Орловского ветеринарного общества» за 1896 г. была размещена весьма любопытная реклама и прейскурант «свежей телячьей оспенной вакцины для прививания людям предохранительной оспы». Этот препарат можно было приобрести в любое время года по достаточно недорогим ценам: баночка на 200 уколов или царапин стоила один рубль, на 120 – шестьдесят копеек, на 60 – сорок копеек, трубочка на 10 уколов, предназначенная для продажи из аптек, – десять копеек. Вакцина давала наивысший процент удачных прививок, при хранении в прохладном, сухом и темном помещении не портилась от 2-3-х месяцев и более. На каждой баночке вакцины была наклеена марка, где указывалось время ее приготовления и «номер теленка». Заказы на сумму не ниже одного рубля, учитывая пересылку в тридцать копеек, могли

высылатся наложенным платежом, а учреждениям и организациям даже в кредит. В случае отказа возвращенная вакцина считалась несвежей и уничтожалась, вторично другим адресатам не высыла- лась. В 1909 г. вакцина рекламировалась на 10 языках.

Вакцину, производимую в оспенном телятнике, отправляли во многие города России: Москву, Благовещенск, Семипалатинск, То- больск, Ставрополь, Тифлис, Сретенск, Оренбург, Карс, Гродно. Все заказы исполнялись в день обращения. Вакцина рассылалась в большом количестве. По сведениям 1909 г., со времени открытия лаборатории в 1887 г. ее сотрудниками было экспериментально привито 5 230 телят, приготовлено детрита на 42 млн. человек. Штат медицинских работников насчитывал до 40 человек. Во время Первой мировой войны из Орла на фронт было отправлено бес- платно до 5 млн. доз вакцины. В 1915 г. Главное военно-санитарное управление по инициативе Живописцева наградило каждого со- трудника его лаборатории медалью «За усердие».

Живописцев наладил не только отличную работу учрежденного им предприятия, но и создал хорошие условия работы для его пер- сонала. Рабочий день длился 8 часов. Каждый сотрудник лабора- тории пользовался оплачиваемым 2-недельным отпуском, боль- ничными листами, имел сберегательную книжку. В 1914 г. в оспен- ном телятнике Живописцева работали 15 человек, средняя зара- ботная плата равнялась 25 руб. Семен Константинович заботился также о досуге своих служащих: заказывал ложи в городском теат- ре, покупал билеты на именитые выступления, в частности, на кон- церт И. Северянина в Орле. После установления Советской власти сотрудники лаборатории получали хлебные карточки как работаю- щие с опасным для здоровья материалом.

Живописцев занимался частной лечебной практикой. В начале 90-х гг. XIX в. в Орле он открыл лечебницу для домашних живот- ных. Учрежденное заведение имело вывеску и печать с надписью «лечебница для домашних животных ветеринара С.К. Живописце- ва». Ее устав был одобрен министром внутренних дел. Сама же ле- чебница состояла под надзором Орловского врачебного отделения, которому представляла годовой отчет о своей деятельности. Семен Константинович проявил себя как ответственный руководитель и профессиональный ветеринар. Его деятельность не носила исклю- чительно коммерческого характера. Главная цель заключалась в предоставлении жителям Орловской губернии возможности лечить домашних животных в условиях постоянно возникающих эпизоотий. Согласно заведенному порядку, прием осуществлялся на договор- ной основе. Лечебница несла ответственность за поступивших в

нее животных, и в случае их кражи, побега или смерти она была обязана компенсировать издержки. Прием сопровождался выдачей на руки владельцу квитанции, и животные возвращались при условии полного расчета.

Отдельной, не менее значимой страницей в жизни Живописцева была политическая деятельность. Семен Константинович состоял в конституционно-демократической партии, которая, как известно, была преимущественно «интеллигентской». С 1901 по 1912 гг. Живописцев избирался в гласные Орловской городской думы, избирательный ценз обеспечивало недвижимое имущество стоимостью, по городской оценке, 4 490 руб. В 1905 г. Живописцев председательствовал в городской комиссии по народному образованию при городском самоуправлении. С 1915 г. как плательщик налога состоял членом Орловского губернского присутствия по налогу с недвижимых имуществ при казенной палате.

Будучи гласным думы и членом управы, Живописцев не раз получал замечания за пренебрежение своими должностными полномочиями: проверкой денежных книг и кассы управы, участием в ее заседаниях. Такое поведение Семен Константинович аргументировал «дерзким и вызывающим на протест» отношением к нему городского головы Д.А. Карпова и некоторых членов управы.

Тем не менее, зарекомендовав себя принципиальной и деятельной личностью, в период отпуска городского головы Д.А. Карпова с 10 по 19 января 1904 г. Живописцев временно исполнял его обязанности. С 29 октября 1904 г. он являлся исполняющим должность городского головы. 12 июля 1905 г. состоялись очередные выборы городской думы, и Живописцев был избран городским головой. В чрезвычайно сложных условиях революции 1905 г., захватившей и провинциальный Орел, Семен Константинович проявил себя на этой должности как человек, быстро ориентирующийся в сложной обстановке, находящий верные решения, как здравомыслящий и прогрессивный политик.

После Манифеста 17 октября 1905 г. в городе начались крупные беспорядки, погромы. Как градоначальник, Живописцев прилагал все усилия для стабилизации обстановки. Городская дума обратилась к жителям с призывом не выходить на улицу и не выпускать детей. Живописцев лично просил губернатора К.А. Балясного принять меры для наведения порядка. Для более решительного воздействия на губернатора была послана депутация гласных. Дума попросила местного епископа побудить священников содействовать делу умиротворения, читать примиряющие проповеди.

Однако на чрезвычайном заседании городской думы, состоявшемся 20 октября, Живописцев доложил, что губернатор никаких серьезных мер не принял, полиция бездействовала и совместно с черносотенными организациями подстрекала население к избиению евреев и интеллигенции. Это вынудило Живописцева обратиться к С.Ю. Витте, в то время председателю Комитета министров, с просьбой содействовать умиротворению населения Орла. В ответ на это обращение губернатор потребовал от Живописцева объяснений. Достоверность заявлений Живописцева о подстрекательстве полиции к погромам проверялась следственными органами. 29 октября 1905 г. в письме судебному следователю «по важнейшим» делам при орловском окружном суде А.В. Сухорукову Семен Константинович сообщил об одном из фактов подстрекательства к беспорядкам. По словам очевидцев, вечером 25 октября покупатели табачного магазина Коген, располагавшегося на Болховской улице в доме Калашникова, стали свидетелями призывов к уничтожению городской управы отставным чиновником Я.П. Михеевым, который заявлял, что в ней «делают бомбы».

Живописцев являлся выборщиком от партии кадетов во II Государственную думу, набрав 349 голосов. Местные власти пытались дискредитировать Живописцева в глазах общественности, распространяя о нем ложные слухи. Так, губернатор С.С. Андреевский обвинил его в активном участии «в революционном восстании, бывшем в г. Орле 18 ноября 1905 г.», а также принадлежности к партии социалистов-революционеров. В декабре 1906 г. Живописцев был включен в списки «утративших право» на участие в выборах в Государственную думу. В ответ на это Семен Константинович подал жалобу прокурору орловского окружного суда с требованием привлечь к ответственности за клевету на него. Он заявил, что состоял в Партии народной свободы, а так называемое революционное восстание в Орле в октябре 1905 г. было «только пьяным безобразием», на предотвращение которого он потратил немало сил.

Живописцев слыл человеком ироничным, прямолинейным и даже резким. По замечаниям гласного И.П. Драгоманова, Живописцев в случае несогласия с предложениями большинства в городской управе мог высказывать свое мнение в письменной форме. Последовав совету коллеги, Семен Константинович оставил следующую запись: «которое (особое мнение Живописцева) при теперешних управских порядках будет служить только закуской для мышей архива». Губернское правление признало заявление оскорбительным и требовало вмешательства Министерства внутренних дел. Правда, дальнейший ход дела неизвестен.

Известны прецеденты, когда острые заявления Живописцева, высказанные им на заседаниях думы, вносились в текущие журналы делопроизводства неверно. В мае 1910 г. он лично внес поправки в текст своей неточно задокументированной речи, обвинив городского голову Н.Д. Суханова и гласных в преднамеренности данного поступка и назвав произошедшее «мошеннической штукой». Живописцев негодовал, что получил документацию для подписания последним. Между тем, губернатор Андреевский нашел в действиях Семена Константиновича признаки преступления. Дело было направлено в распоряжение прокурора орловского окружного суда.

В период исполнения Живописцевым обязанностей городского головы его неоднократно пытались отправить в отставку. До конца исполнения своих полномочий он так и не был утвержден на посту, поскольку при поддержке губернатора правомонархические силы настояли на аннулировании выборов в городскую думу. Живописцев исполнял должность городского головы до 17 ноября 1905 г, затем сам подал заявление об отставке.

Одной из приоритетных задач своей деятельности Семен Константинович считал распространение медицинских знаний в обществе. Для Живописцева был очевиден недостаток поступавшей в провинцию медицинской литературы. Это натолкнуло его на мысль открыть собственный книжный склад «по наукам, соприкасающимся с ветеринарией». В 1898 г., с согласия губернатора Н.А. Трубникова, Живописцев открыл в своей усадьбе на Кромской улице книжную лавку.

Кроме того, что Живописцев пополнял свою лавку земскими докладами и отчетами по ветеринарии, он, будучи первым председателем Орловского ветеринарного общества, самостоятельно приступил к издательской деятельности. Первый сборник «Трудов Орловского ветеринарного общества» увидел свет, главным образом, благодаря энергии и усилиям своего руководителя.

Живописцев принимал участие в создававшихся в Орле общественных организациях. Он состоял активным членом Орловского отделения общества покровительства животным. На одном из заседаний он внес предложение устроить при этом обществе библиотеку из изданий, которые способствовали пробуждению у людей сострадания и стремлений к покровительству над животными, а также популяризации этих идей с помощью продажи и раздачи подобной литературы. В декабре 1894 г. орловским отделением было продано 600 книг.

Необходимым направлением деятельности власти Семен Константинович считал поддержку неимущих, что характеризовало его

как человека неравнодушного к чужим тяготам. На одном из заседаний городской думы в 1910 г. выступил с инициативой позаботиться о бедняках: организовать дешевые похоронные бюро для неимущих, у которых не было средств на захоронение умерших.

Большой вклад вносил Живописцев в культурную жизнь Орла. Так, являясь известным орловским библиофилом, он принял участие в формировании фонда музея – библиотеки И.С. Тургенева. В 1918 г. Семен Константинович передал туда часть хранившихся у него раритетов: подлинные фотографии Тургенева, роман «Дым» с автографом автора, письма Полины Виардо, письма Я. Полонского, дарственные произведения своего друга, белорусского поэта Янки Купалы, гостившего у него в 1915 г. Он также делал пожертвования в фонд Тургеневского общества.

Как человек, не чуждый прекрасному, Живописцев входил в Общество любителей изящных искусств.

С установлением Советской власти все имущество выдающегося ветеринара было национализировано. В 1918 г. оспенный телятник Семена Константиновича находился «в непосредственном ведении Народного комиссариата здравоохранения». Несмотря на то, что официально Живописцев передал государству основанную им лабораторию добровольно, вероятнее всего, это была добровольно-принудительная передача. Хотя он был оставлен заведующим своего предприятия, поддержки от местных властей ветеринар не получал, средств для работы не хватало, уникальная лаборатория разрушалась. Ответственный и преданный делу Семен Константинович, зная о том, что с 1915 г. вакцинаций от оспы не производилось, с большим опасением ожидал увеличения числа детских эпидемий, предупреждая об этом представителей власти. Выступая на Орловском губернском ветеринарном съезде в мае 1918 г., он заявлял, что по ветеринарной организации и результатам борьбы с заразными болезнями Орловская губерния стояла «в хвосте всех земских губерний России».

Умер Живописцев в нищете около 1920 г.

Оспенную лабораторию, перешедшую в ведение Орловского губздравотдела, разграбили. Вся ценная аппаратура, привезенная Живописцевым из-за границы, была отправлена в Москву в Центральный государственный оспенный институт, составив основу оборудования этого института.

О семье Семена Константиновича известно немного. У него был брат Николай, сестра Мария, 3 сына и 4 дочери. Супруга – Анна Ивановна Живописцева – являлась сотрудником оспенной лаборатории; с 1920 г. работала в должности завхоза, на тот момент она

была уже «одинокa». До 1926 г. она проживала в доме на улице Комсомольской вместе с дочерью Анной Семеновной Тихомировой – служащей губернского отдела народного образования, и внучкой Евгенией.

В 1967 г. дом Живописцева, располагавшийся в центре г. Орла (ул. Комсомольская, 41), был признан памятником истории и культуры. Однако в настоящее время от него не осталось и следа.